

unrecognised  
unrecognised

Маша  
Гиршо  
Рольникайте

Привыкни к свету (СИ)

Слова, ставшие названием повести, говорит ее героине Норе один из тех, кто спасал эту девушку три долгих года гитлеровской оккупации. О возвращении к свету из мрака подвалов и чердаков, где она скрывалась в постоянном страхе быть обнаруженной, о постепенном оттаивании юной души рассказывается в этой повести.

# Самиздат

ru

Маша  
Гиршо  
Рольникайте

12.12.2016

d2f306e9-24af-4936-b69d-c611e06b7ec8

Annotation

Слова, ставшие названием повести, говорит ее героине Норе один из тех, кто спасал эту девушку три долгих года гитлеровской оккупации. О возвращении к свету из мрака подвалов и чердаков, где она скрывалась в постоянном страхе быть обнаруженной, о постепенном оттаивании юной души рассказывается в этой повести.

М.Рольникайте

Глава II

Глава III

Глава IV

Глава V

Глава VI

Глава VII

Глава VIII

Глава IX

Глава X

Глава XI

Глава XII

Глава XIII

М.Рольникайте

ПРИВЫКНИ К СВЕТУ

Повесть

Глава I

Памяти отца посвящаю

Осторожно, чтобы не зашуршало сено, Нора выпрямляет затекшую ногу и поворачивается на правый бок. Снова прикидывает к щели. Конечно, это русские! Вот те, что соскочили с танков, — в красноармейских гимнастерках. Один усатый, а у немцев таких усов не бывает. И солдат, который показывает, чтобы машины съезжали к озеру, размахивает красным флагом. С такими их класс перед войной ходил на первомайскую демонстрацию. В деревне уже русские! Можно вылезать! Нора убеждает себя, а все равно не трогается с места. Лежит в своем укрытии на сеновале, смотрит в щель и рассказывает себе, что видит. Говорить с собою так, будто есть и вторая Нора, она привыкла уже давно. С тех пор, как маму с бабушкой забрали и она стала

скрываться. Даже когда у людей — все равно одна. Чтобы не было так страшно, она сама успокаивала себя, что не надо бояться. Утешала, что не найдут. Теперь она уверяет себя, что свободна! Немцев нет, можно выйти! Но медлит. Почему дедок и Алдона не возвращаются из леса? Не знают, что здесь русские? А может, бояться, что немцы вернутся обратно? Она тоже подождет... Когда дедок сказал, что они все уходят, Норе стало страшно: она остается совсем одна! Но уйти вместе со всеми ей нельзя было — никто, кроме старого дедка Апутиса и его дочери Алдоны, не знает, что она здесь. Уйти после них? Где она там спрячется? Тут, в сарае, хоть есть укрытие. Чтобы никто не мог подступиться к сеновалу, дедок у двери нагромоздил сбрую, мешки, корзины. Тачку притащил. Даже косы с вилами сюда перенес. И попросил — раз она все равно остается — сторожить дом. Сверху хорошо видно. Если фашисты, отступая, подожгут его, то, как только они отъедут, Нора быстро слезет и станет гасить. Дедок и воды во все бочки налил, и полные ведра поставил на каждом углу. Но в спешке забыл принести ей крынку с питьем. Хлеба и кусок сушеного тминного сыра подал, а воду забыл. Норе уже много раз приходилось терпеть. То без еды, то без питья, иногда без того и другого. Она знает: если очень хочется пить, так, что вода даже мерещится, — ни за что нельзя думать о ней — ни как она расплескивается, когда из колодца тащишь полное ведро, ни как течет в реке, ни как дождевые капли стучат о подоконник. Нора старалась не думать о воде. Выискивала в сене вокруг себя цветки клевера и сосала их. Но это не помогало — они сочные только в поле. А от засохших першит в горле. Спуститься за водой она боялась. Хотя знала, что в деревне никого нет. Днем ни дымка над крышей, ни человека во дворе; даже случайно забытой несущки не осталось. Но сойти было страшно — каждую минуту могли появиться немцы. И они появились. Нора испугалась, что они останутся, спрыгнут с машин и начнут все подряд поджигать. Но они пронеслись мимо. Следующие — тоже. Потом стали проезжать почти беспрерывно — машины, танки, опять машины. И не останавливались. Только сидевшие на них солдаты иногда стреляли по придорожному кустарнику, по закрытым ставням домов. А под вечер уже и стрелять перестали. Мчались с такой скоростью, что пыль за ними не поспевала — завихрившись, отставала и тут же попадала под колеса следующей машины. Но и ночью, когда танки грохотали реже, и на рассвете, когда больше никто не проезжал — в деревне стало совсем тихо, — слезть за водой Нора все не решалась. Уговаривала себя еще немножко потерпеть. Но ведь больше терпеть не надо! В деревне русские! Вдруг Нора окаменела — тот, усатый красноармеец влез в танк. Уезжают?! Она хочет с ними! Нора быстро выбралась из ямы в сене, соскользнула вниз, наступила на грабли. Чуть не наткнулась на косу. Выбежала во двор. Пусто. И танков отсюда не видно. Никого нет. А пионы, сверху казавшиеся живыми — так они кивали друг дружке головками, — теперь стоят неподвижно. Нора нерешительно делает шаг. Еще один. Осторожно подкрадывается к углу. Есть! И танки, и красноармейцы! Она хочет подбежать к ним, послушать, как они разговаривают. Но не может двинуться с места — ноги дрожат. И руки тоже. Она только повторяет себе, что пришла Красная Армия. И теперь ее уже не убьют! Два красноармейца идут сюда! Тянут какой-то провод. — Смотри! — восклицает один. — А ты говорил, нет ни души. Вот одна. Только очень маленькая. Они ей улыбаются... А Норе странно, что люди в военной форме ей улыбаются. — Девочка, ты здесь живешь? — спрашивает черноволосый. Он и сам смуглый, и глаза черные. А брови почти срослись — на переносице кисточка. — Там... — показывает Нора. — В сарае? — смеется чернобровый. — А почему не в доме? — Не кричи, Илико. Ты же ее пугаешь. Второй говорит потише. И волосы у него светлые. А глаза голубые. На гимнастерке три полоски — две красные и одна желтая. — А кто живет в доме? — Они ушли в лес. Прячься. — А ты почему осталась? — Мне с ними нельзя. Он не понимает. — Чтобы их за меня не убили, — объясняет Нора. Оба удивлены. Не верят? — Честное слово! Если немцы находят кого-нибудь, кто прячется, забирают и того, кто прячет. — Ты пряталась? — удивился голубоглазый. — Я... — А сколько тебе лет? — Тринадцать. — И, спохватившись, добавляет: — Было тринадцать. Теперь уже шестнадцать. — Видал личного врага фюрера? — опять удивился голубоглазый. — Слушай, — неожиданно тихо, почти хрипло спрашивает Илико, — может, ты есть хочешь? Пить, только пить! Но губы такие сухие, что сказать это очень трудно. — Понимаешь, нам сейчас некогда, — будто извиняется голубоглазый и начинает разматывать свой провод. Нашивки на его гимнастерке шевелятся. — Но мы тебе принесем. Потерпи немного. — Зачем терпеть?! — восклицает Илико. — Сходи к нашему повару. Скажи — Илико и Витя просили накормить. — Верно, сходи. Кухня там, у озера. Любого спросишь, покажет, — обрадовался Витя. — Зачем

спрашивать?! По запаху узнаешь. И ешь. Потом мы принесем — опять есть будешь. Поправиться надо. Невеста, а такая худая. — Не стесняйся, — советует и Витя. И убегает, на ходу разматывая провод. Илико спешит за ним. Вдруг оборачивается: — Слушай, ты не грузинка? — Нет... Они уходят за изгородь. Машут ей оттуда и убегают под гору. Она опять одна... Вдруг замечает у крыльца ведро. С водой! В ней солнце блестит. Как золотой цветок... Пить неудобно, она не умеет пить из ведра. Вода лезет в нос. И дышать трудно. Нора отрывается на миг, переводит дух и снова пьет. Захлебывается, задыхается. Пробует пить из пригоршни, но так не напиться. Устала. И, кажется, напилась. Но уйти от воды не решается. Нора сидит, опустив руку в ведро, и шевелит пальцами. Солнечный отблеск сверкает, слепит. Внезапно она вздрагивает — ее могут увидеть! И сразу вспоминает — теперь это уже не страшно! Не надо бояться. И прятаться больше не надо. Нора смотрит вокруг. До чего просторно! Над головой до самого неба — ничего! Ни потолка подвала, ни ската крыши. Она может встать во весь рост. И стоять. Или подойти к скамейке. К колодцу. Даже к березам. Но она сидит. Рука в ведре, голова прислонена к стене. А кажется ей, будто идет. По самой середине дороги, не таясь — хотя теперь день и ярко светит солнце. До чего хорошо так шагать! Легко! И ветерок подгоняет. Вот он прошелся по полю широким арпеджио, и рожи волнами стала кланяться, будто здороваясь. "Здравствуйте, здравствуйте, — отвечает Нора колосьям — Я тоже очень рада, что могу так идти..." — Нора! Откуда они знают ее имя? — Ты что, спишь? Она открывает глаза. Алдона! Дедок! Вернулись! — Думала, танцуешь, а ты, вижу, спишь... — Жива? — спрашивает дедок. Нора кивает. Больше он ничего не говорит. А глаза улыбаются. Старые, выцветшие глаза. Раньше Нора их ни разу не видела. Ночью ее сюда привезли. По ночам он приносил ей поесть. Иногда, как теперь, скажет два слова шепотом, а иногда только кашляет — мол, пришел, поесть принес. Теперь тоже поговорил. И ушел к выбитым окнам. Пробует, крепко ли сидят осколки стекла. — Это они стреляли, — объясняет Нора. — Когда удирали. А у хлева Тадас, Алдонин муж, распрягает лошадей. Сейчас он ее увидит, спросит... Увидел! — А это кто? Дедок не отвечает. Будто и не слышал. Тадас смотрит на нее. Кажется, догадался... — Прятали? — Она недавно... В сарае... А теперь дом сторожила, — объясняет Алдона. — А если бы нашли? Веревка на шею кому? Тадасу? — Почему тебе одному? — спокойно спрашивает дедок. Больше он ничего не говорит и уходит в дом. — Не нашли же! — пытается успокоить мужа Алдона. Тадас все равно злится. Хватает с телеги корзину. — Осторожно! — вскрикивает Алдона. Но он назло ей швыряет. В корзине, завязанной платком, слышится тревожное кудахтанье. Тадас пинает корзину ногой. Алдона подбегает, хочет развязать платок. От волнения пальцы неуклюже дергают узлы, еще туже их затягивают. Нора хочет помочь, но не смеет. Наконец Алдона снимает платок. Куры бьются испуганно, опрокидывают на себя корзину. Только одна успела выскочить и теперь убегает без оглядки. Остальные беспомощно топчутся под этим плетеным колпаком. — Меня вы спрашивали, хочу ли я умереть из-за этой?.. — сердится Тадас. Нора уходит в свой сарай. Она опять здесь. В том же полумраке, с тем же столбом посередине. Наверху, на сене, ямка, в которой она лежала. Отсюда, снизу, и правда ничего не видно. А когда Нора там лежала, казалось — как только войдут, заметят. Не только немцы или полицаи, но и Тадас. Когда он входил, Нора боялась даже дышать. "...Меня вы спрашивали, хочу ли я умереть из-за этой?.." А разве она хотела, чтобы из-за нее умирали? Сперва и не знала ничего. Думала, что ее не впускают в дом, потому что она незнакомая, чужая, а они не понимают, что ей совсем некуда деться и что ее могут схватить. Правда, один — потом Нора узнала, что он полицай, — понял. Даже крикнул: "Правильно делают, что вас расстреливают. Давно пора!" Только потом, на мельнице, когда старый Даугела, который обещал держать ее до конца войны, вдруг прибежал испуганный и попросил, чтобы она ушла, ушла сегодня же, ночью, Нора узнала. Увидела... Они висели с завязанными назад руками. От ветра разворачивались то к дороге, то к реке, будто во все стороны показывая дощечки с надписью: "Я помогал врагу- большевистскому солдату", "Я прятал евреев". Третьей надписи Нора не разглядела — луна зашла за облака. Да и на те глянула только мельком, пробегая. Постучаться к другим людям она не решилась. Ни в ту ночь, ни в другую, ни в третью. Спряталась в лесу, в большой яме, накрыв ее хворостом и листьями. Уговаривала себя потерпеть. Старалась не думать о том, что будет дальше. Не было этого "дальше", было только "теперь". Надо еще потерпеть... Потом все меньше приходилось себя уговаривать. И это "что дальше?" стало отодвигаться. Пока совсем не исчезло. И ничего больше не было: она только помнила, что лежит в яме. А потом на нее упала Петронеле. Не заметила

под листьями ямы и провалилась. Испуганно крестилась и долго не могла поверить, что Нора не лесной дух. Только узнав, почему Нора здесь прячется, поверила... Привела ее к себе. Устроила на печи укрытие. Поила горькими настойками из трав, чтобы Нора скорее поправилась, окрепла. А Нора все время помнила о тех троих. Но рассказать не решалась. Однажды ей это приснилось... Немцы врываются, хватают ее. Петронеле тоже выгоняют. Связывают руки. Вешают дощечку... Нора проснулась. Хотела сразу разбудить Петронеле, рассказать ей все и уйти... Но Петронеле спала. Голова на подушке казалась маленькой — наверно, потому, что без платка. Было очень тихо. Даже стены, уставшие за день смотреть на комнату, теперь, казалось, стоят, углубившись в сон. И забытая на столе чашка. И вода в кадке. Столетник, сняв с тесного подоконника свои тени и причудливо расстелив их на полу, дремлет. И Нора не стала будить Петронеле. Что же делать? Нора уставилась в темноту, будто именно оттуда должен возникнуть ответ. Только другой, не тот, который неясно мелькал в голове. Нет, уйти она не может. Но и здесь оставаться нельзя. А ведь кто бы ее ни впустил, каждому грозит то же самое... Что же ей все-таки делать? И так всю ночь. Нора порывалась разбудить Петронеле и продолжала лежать... Обвиняла себя и оправдывалась. Утром все-таки рассказала. Сбивчиво, не очень внятно, но рассказала. Петронеле ничуть не испугалась, не попросила уйти. Сняла с огня картошку, налила простокваши и спросила, подать ли на печь или Нора слезет поесть. Выходит, Петронеле знала! Не о тех трех у мельницы, а вообще знала. Еще до того, как нашла Нору в лесу. И все равно привела ее... А Тадас сердится. Но что ж ей было делать? Она понимала, как им страшно — и дедку с Алдоной, и Петронеле, и Стролисам... Она вернется к Стролисам! Нора вспомнила маленького Винцукаса. Как он принес ей в погреб еду. Садился рядом и шепотом утешал: "Я никому, никому не скажу, что ты здесь. А когда вырасту, выгоню всех фашистов, и ты больше не будешь спать в погребе". Она поедет к Стролисам! Ведь теперь уже можно! Нора выбегает из сарая. Тадаса не видно. Алдона в огороде. Дедок возится с оконной рамой. Вынул ее и аккуратно отковыривает замазку. — Может... мне вернуться к Стролисам? — Проведаетшь. Пока поживи тут, привыкни к свету. И все. Нора тоже не знает, что сказать. Просто так они никогда не разговаривали. Она смотрит, как дедок, отковырнув замазку, осторожно вынимает уцелевшие куски стекла и складывает их на скамейке. Больше, наверно, ничего не скажет. Она идет к Алдоне. — Можно, я вам помогу? — А что тут помогать? Я только для свекольника нарвала на ужин. Сама все же идет вдоль грядки — то сорняк выдернет, то еще свеклину вытянет. — Может, огурцы прополоть? Я умею. — Чего ж тут не уметь? Только не надо, я недавно полола. Тадас говорил — все равно немцы истопчут. А вот не успели. Зачем думать, что будет плохо? А Нора думала. Даже представляла себе... Но больше не будет — ведь гитлеровцев уже нет! Алдона уходит. Нора наклоняется над грядкой. Под листьями огурчики. Крохотные, с неопавшими еще цветочками на конце. Тоже таятся... И Нора переходит к другой грядке. С морковью. Маленькие травинки выдергиваются легко, а высокие, с твердыми стебельками — Нора забыла их название — не поддаются. Обрываются, корень норовит остаться в земле. Нора все равно выдирает. Неожиданно что-то мелькает в голове. Странное, непривычное. Она не боится! Сидит у всех на виду, полет огород и совсем ни о чем не думает. Даже о том, что уже свободна! Как долго она этого ждала! Про себя даже умоляла советских бойцов — приходите скорее! Но как они придут, не представляла себе... Сперва это казалось очень далеким. Потом, когда фронт стал приближаться, она пыталась — чтобы легче было ждать — представить себе, как это будет, когда освободят. И что она будет делать. Теперь ее уже освободили. А она в огороде полет морковь... Но что еще делать? И Нора продолжает выдергивать сорняки. Морковины очень похорошели. Стоят ровными рядами, топорща зелень над взрыхленной землей. — Нора, бросай работу. К тебе гости пришли. Алдона ждет ее у колодца. — Давай полью. — Она зачерпывает воду узким жестяным литром. Точно такой был у молочницы, которая до войны приходила к ним по утрам. Но этот, видно, протекает. Нора идет следом за Алдоной в дом. В первый раз поднимается на крыльцо. Красноармейцы! За столом сидят Илико, голубоглазый Витя и другие, незнакомые. Дедок тоже с ними. И Тадас. Теперь он, кажется, не злится. — Ты почему не пошла к нашему повару? — спрашивает Илико. — Видишь, обиделся. Но его сосед улыбается. — Садись с нами! — Смотри, что они тебе принесли, — шепчет Алдона, показывая два котелка с перловой кашей. — Почему только мне... — А я свекольник сварить не успела. Только вот, картошка. На столе много хлеба! Целая коврига Алдоного, круглого, и еще две непривычные, прямоугольные. Наверно, тоже они принесли. От картошки поднимаются струйки вкусного пара. Нора очень хочет взять горячую

картошину, но не решается. Ей должны дать... Дедок разливает в чашки "что бог послал". — А как же, был и я солдатом... Дедок — солдат?! Нора смотрит на его костистые пальцы, обхватившие бутылку, на худые щеки под седой щетиной и не может себе представить его молодым, чубатым, в солдатской форме. — ... еще при вашем царе Николае. — Почему же он наш? — смеется Витя. — Мы его... При царе?! Это ж было так давно, в учебнике истории! Может, он даже был книгоношей? И Нора вдруг вспоминает, как учительница истории рассказывала, что царь в 1864 году запретил преподавать в школах литовский язык и печатать литовские книги. Печатали за границей, и книгоноши тайком приносили в Литву. Но их ловили и ссылали... — Как тебя зовут? — спрашивает красноармеец, который сидит с ней рядом. — Нора. — А меня Коля. То есть Николай. — И, помолчав, спрашивает: — Родители есть? — Есть. Но маму с бабушкой эсэсовцы увели. А папа на фронте. Он майор. — Пишет? Ах да, куда было. Но ничего. Скоро война кончится, отыщет он тебя, заживете, как прежде. Нора кивает. Она хочет, чтобы он еще говорил об этом. Но сосед вдруг погрузился. — Я тоже ишу своих. Сестренка у меня такая, как ты, Оля. И родители. В деревне они, тоже под оккупацией были... Я уже шесть писем написал. Вчера седьмое отправил, в сельсовет. Может, хоть оттуда ответят... — Конечно, ответят! — Нора хочет, чтобы он опять улыбался. Неожиданно двое, которые сидят рядом с дедком, затягивают: На позиции девушка Провожала бойца. Темной ночью простилась На ступеньках крыльца... И Нора видит: ночь... крыльца... Двое прощаются... И пока за туманами Видеть мог паренек, На окошке, на девичьем Все горел огонек. Нора представляет себе и этот огонек. Он отдаляется, уменьшается. Стал только светящейся точкой. То пропадает, то, как уголек, на который подул ветер, — снова оживает. Мерцает вдали. — А ты небось настрадалась? — тихо, чтобы не мешать поющим, спрашивает Николай. — Но сперва поешь, поешь! — Видно, заметил, что она смотрит на сковороду с подогретой кашей. — Бери, еще бери! Нора отвыкла есть на людях. Ложка дрожит, каша вываливается. Неловко проглотив две полных ложки, спешит ответить Николаю: — Я пряталась. То есть меня прятали. — Где? — Везде. Сперва, когда немцы ночью пришли за нами, мама меня затолкнула в ванную, забросала грязным бельем. Но я все слышала. Солдаты кричали, что мы большевички. Ходили по комнатам. А мама твердила, что больше тут никого нет, они живут только вдвоем с бабушкой... Солдаты их увели... — А тебя не нашли? — Нет. Под бельем не искали. Только дверь в ванную открыли. — А потом? — Я долго не вылезала. Потом... Уже было утро. Я слышала, как к двери подошла молочница. Спросила кого-то, почему опечатано... Больше никто не приходил. Я съела все, что у мамы было. Даже сухое какао. И макароны все сгрызла. Плилу растопить боялась. И свет не зажигала. А мимо окон ползала по полу. — Долго так? Нора вдруг замечает, что за столом тихо. Все слушают ее. — Долго. А однажды пришел немецкий офицер. Ноя услышала, что возьтятся у двери, и опять спряталась в ванной под бельем. — И он тебя не нашел? — Нет. Не искал. Только велел женщине, которую привел, проветрить квартиру и убрать ее. Он сюда вселится. В ванную тоже заглянул. Открыл кран, течет ли вода... Потом ушел... А эта женщина испугалась, когда нашла меня. Сказала: "Уходи, пока он не вернулся". И я ушла... — Да, — неожиданно говорит Тадас. — Натерпелись от них. Все натерпелись. И страху, и... — он машет рукой. — Батя у ней воюет, — говорит дедок, с укоризной глянув на Тадаса. — Военврач он, майор. — В какой части? Как зовут? — спрашивают несколько голосов. — Маркельскис. Может, знаете? Витя пожимает плечами. И Николай не знает. Даже Илико улыбается, как бы извиняясь. — Ничего, — спокойно, будто и не было этого неловкого молчания, говорит Николай, — отыщется твой батя. — Конечно, отыщется! — восклицает Илико. — Не надо грустить. Витя, давай. И Витя тихо затягивает: Эх, махорочка, махорка, Подружились мы с тобой... Илико подхватывает: Вдаль глядят дозоры зорко, Мы готовы в бой! Мы готовы в бой! — Хорошо поют, верно? — спрашивает Николай. — Витя и на гармошке играет. "А я играла на рояле", — хотела сказать Нора. Но промолчала. Это было так давно... Первое время она и в укрытиях пыталась "играть" — на коленях, на доске. Повторяла гаммы, этюды, сонатину Моцарта. Потом перестала. Хотя знала — мама будет недовольна. Мама очень хотела, чтобы она стала пианисткой. Когда Нора долго засиживалась у Юдиты или после школы рассказывала что-нибудь "пустенькое", мама сперва слушала. Будто невзначай подкладывала еще котлетку. Потом начинала улыбаться: "Пустяки у тебя в голове: какой торт испекла Юдитина мама, какие новые ленты были у Иоанны. А ведь этуод Рахманинова еще не разобрала". Стучат в дверь! Нора вздрагивает. — Не бойся... — тихо говорит Николай. Входят два красноармейца. Один

очень высокий. Алдона вскакивает, уступает место. Нора тоже встает. — Сиди. — Николай с Витей пытаются еще потесниться. — Ничего, мы сядем на кровать, — объясняет Алдона. — Ребята, — сразу спрашивает Николай у вошедших, — вы майора... — и он оборачивается к Норе: — Как звать твоего батю? — Маркельскис. — Майора Маркельскиса не знаете? Военврач он. — Бог от встречи уберег, — улыбается высокий. Второй тоже не знает. Нора перебирается на кровать. — Положи голову, — шепчет Алдона. — И ноги вытяни. Нора не решается. Хотя очень хочет прикоснуться к этой настоящей, в белой наволочке, подушке. — Ложись, ложись, — говорит Алдона, и голова Норы сама уходит в забытую пуховую благодать. Нора закрывает глаза. ...Она на кровати. Настоящей. На такой спят раздевшись. И мягко как — голове, плечам, всему телу... — Нет, дедушка, не скоро домой, — доплывает голос Вити, — война еще. Нам идти да идти. До самого Берлина. — И он неожиданно затягивает: Утро зовет снова в поход... Несколько голосов продолжают в унисон: Покидая ваш маленький город, Я пройду мимо ваших ворот... Тоже незнакомая песня... Для них она — своя. И сами они друг другу — свои. Завтра уйдут. А она останется... Но ведь немцев больше нет! Может, ей это снится? Что лежит на кровати. В комнате красноармейцы. Может, даже песня снится? Нора быстро открывает глаза. Нет, они здесь. Опять закрывает глаза. Все равно видит их. Они есть! Пришли! И теперь уже не надо будет умирать...

## Глава II

"Какая тебе у нас жизнь, тебе в город надо". Нора это понимает. Она и сама очень хочет домой. Но вчера уехать не могла. Витя забежал попрощаться — получен приказ, через час снимаются. Предложил поехать с ними — как раз в ту сторону. Нора от неожиданности вздрогнула. Почти как раньше, когда надо было вдруг убежать от облавы. Витя не понял, почему она так медлит. А дедок, пожав плечами, сказал: — Какая тебе у нас жизнь, тебе в город надо. Конечно, надо. И она поедет. Только не знала, как объяснить, что теперь, когда больше не страшно, она не может так, сразу... И если бы не домой, она бы совсем не уезжала. Ведь так хорошо все время быть на одном месте. Витя уехал. Дедок больше об этом не говорит. И Алдона не напоминает. Наверно, чтобы Нора не подумала, будто они ее выпроваживают. Она и не думает. Сама убеждает себя, что поедет. Домой ведь! Они тут живут своей всегдашней жизнью, работают. А она только плетется за Алдоной, неумело стараясь помочь. То унести подойник, то начистить картошки. Алдона посмеивается: "Хватит тебе, помощница, работать. Иди посиди". Сейчас тоже отправила. И Нора сидит на крыльце, смотрит. Здесь хорошо. Маргис дремлет у своей будки. Приоткрывает один глаз и, увидев, что все в порядке, снова зажмурится. А куры расхаживают по двору с таким важным видом, будто только они тут без усталости следят за порядком. Заметив что лишнее, склевывают и вышагивают дальше, расписывая землю тонким узором следов. Вдруг Маргис вскакивает. Поднимает морду — не то принюхивается, не то выть собирается. Убегает. А когда она снова придет сюда, потом, из города, он ее узнает? Маргис прибегает, вертится вокруг нее, тычет мордой, куда-то зовет. Нора встает. Оказывается, он выбежал встречать дедка. Но почему-то не радуется, не забегает вперед. Даже ни разу не тявкнул. Плетется сзади, понутив голову, будто прощения просит. А дедок его и вовсе не замечает, тащится усталый. — Скажи Тадасу, — говорит он Норе, глядя куда-то в сторону, — чтобы лошадь запряг. Поедем. — И тихо, странным голосом добавляет: — Стролисов хоронить. Нора не понимает. То есть она понимает, но не может... — Пусть Алдона тоже собирается. За скотиной присмотрит кто-нибудь. Попросите соседку, Лапене. Он идет к сараю. — А мне... можно с вами? Дедок кивает. Алдона тоже не сразу понимает. Даже слезы в глазах собираются медленно, нерешительно. — А кого... хоронить? — спрашивает она. — Не знаю... Слезы дрожат, но не скатываются. — Спрошу. — Нора хочет выйти, но дедок сам входит. — Кого... — она запинаясь и все-таки произносит, только очень тихо: — хоронить?.. — Всех. Нора смотрит на Алдону — она тоже так слышала? — Всех, — угрюмо повторяет дедок. — Убили их. — Но теперь же не убивают! — вырывается у Норы. Дедок молчит. — За что? — Алдона закрывает лицо ладонями и бросается поперек кровати. — За что? Кому они



сделали плохое? Ведь только добро, одно только добро!.. — Она задыхается от рыданий. — А ребенка за что?.. За что невинную душу Винцукаса погубили?.. И Нора будто опять услышала голос Винцукаса: "Не бойся, я никому, никому не скажу, что ты здесь. А когда вырасту..." Вдруг Алдона садится. — Кто? — Фашистские последыши, — мрачно отвечает дедок. Поворачивается к Норе: — Ты тут посиди... Винцукас ее крестник. Потом, когда она... того... соберетесь. — И выходит. Нора видит в окно, как дедок берет у Тадаса сбрую и сам принимается запрягать. А Тадаса куда-то посылает. Запряг. Сена в телегу набросал. Идет в свою каморку. Только они с Алдоной не трогаются с места. Алдона тихо плачет на кровати, а она... Она твердит себе, что это правда. Они едут хоронить Стролисов. Хоронить Стролисов... Дедок выходит из своей каморки совсем другим — в сапогах и выходной, из беленого льна, рубашке. В калитку входит Тадас с соседкой. — Тадас Лапене привел. Алдона тяжело встает. По-старушечьи шаркая ногами, выходит. Ведет соседку в хлев, в погреб, показывает, где подойник. Лапене подоит корову, постелет чистой соломой. Соберет в курятнике яички. Только Стасе этого больше никогда не будет делать. Ее нет. И Антанаса, и Винцукаса... Однажды он принес в погреб снимок. Там Стасе в фате. Антанас тоже нарядный. "Это мама с папой на свадьбе. А это бабушка с дедушкой". Теперь их тоже... Всех пятерых... — Потяжи, — Алдона протягивает ей черный платок. Траур по Винцукасу. По Стасе... — Еще нареवेशься, — говорит Алдона. — Сходи заberi свое пальтишко. Оттуда, наверно, уже домой поедешь. А новое еще когда справишь. Нора идет в сарай — пальто осталось там, на сеновале. С того первого дня она ни разу не была здесь. Теперь ей кажется, будто что-то изменилось — то ли ямка в сене стала меньше, то ли скат крыши ниже. И все выглядит чужим... Нора хватает пальто и поспешно выходит. — Хорошо, что лето и его не надо надевать. — Алдона встряхивает пальто. На свету оно очень неприглядное. Нора его давно не видела со стороны. Совсем не такое, как было. Мятое, выгоревшее, с большой серой заплатой спереди. Эту дыру Нора прожгла позапрошлой зимой. Долго тогда блуждала, закоченела, и когда наконец лесник впустил ее, она прижалась к печке и не заметила, как начала тлеть правая нога. По запаху почуяла. Но уже была дыра. Большая, с горелыми краями. — И платье надо бы другое, — вздыхает Алдона. — Но нет у меня, сама обносила. — Не на свадьбу едем, — говорит дедок. Это платье ей дала Стасе, когда Норину, домашнее, совсем распозлось. А теперь Нора в нем едет хоронить Стасе... Глаза уже устали смотреть по сторонам. И все равно Нора вглядывается в каждое придорожное дерево, в каждый куст — может, увидит что-нибудь знакомое. Иногда даже мерещится, что узнает — поворот дороги, высохшую березу. Хотя понимает, что это невозможно: не видела она этого. Зимой, когда Антанас вез ее к деду, она лежала на дне саней спрятанная. Если бы их остановили и проверили, что в санях, Антанас сказал бы, что везет больную племянницу в город, к врачу. К счастью, тогда не остановили. Но тащились они очень долго. И теперь уже едут давно. Сперва солнце стояло над самой головой. Потом стало очень медленно подкатывать к верхушкам деревьев. А зайдя за них, еще долго мелькало: то скрывалось, то вдруг появлялось, ослепляюще сверкая. Теперь оно только изредка появляется между стволами. На мгновение заливают все яркими медными бликами и тут же снова их гасит, исчезая. Нора очень хочет спросить, доедут ли они дотемна. Но не решается — все молчат. За всю дорогу никто не вымолвил ни слова. Дедок останавливает лошадь. Слезает. Тадас тоже нехотя спрыгивает. Ворчит: — Может, живой. Немец!.. — погоди, — Алдона держит ее за руку. — погоди, лежит ведь. Наверно, мертвый. И правда, лежит. Ничком. Одна рука подвернута, другая выброшена вперед, будто он до чего-то дотягивался. Без сапог, в носках. На пятках — дыры. Дедок нагибается. Переворачивает его на спину. Левая рука остается на ремне, а правая снова валится наземь. Только теперь ладонью вверх. И пальцы полусогнуты. — Отвоевался... — Тадас сплевывает и возвращается к телеге. А дедок, наоборот, уходит в глубь леса. А если там другие, живые? Нора не терпит — скорее бы вернулся! Надо уехать подальше отсюда! Наконец дедок появляется из-за деревьев. Тащит большую ветвь. Достает из кармана свой складной нож и принимается обрезать ветки. Аккуратно, не спеша. А Нора боится, чтобы тот, лежащий, не зашевелился. Ветвь дедок затесал и воткнул в землю. Не возле немца, а у самой дороги. Тут виднее. — Пусть похоронят. А то жара... — Дедок забирается на телегу. И опять едут молча. Лес давно остался позади. А у Норы все еще перед глазами этот немец в зеленой форме. Лежит. И носки дырявые... Когда дедок его переворачивал на спину, волосы соскользнули со лба. А рукав был грязный. И пальцы в земле. Он лежал ничком. Как обыкновенный человек. И

рука обычная, и пальцы согнуты. Даже носки в дырах, совсем обыкновенные. Хоть в немецкой форме, но совсем как человек... — Может, подвезете? Нора вздрагивает — откуда взялся этот старик? Босой, а ботинки связаны шнурками и перекинуты через плечо. В руках корзина с плетеной крышкой. В таких до войны гусей на рынок привозили. — Далеко? — спрашивает дедок. — Близко. В Соднинкай. — Садитесь. Старик залезает. Пристраивает возле ног свою корзину, ботинки и только тогда поднимает глаза на Нору с Алдоной. — Добрый день, барышни. — Здравствуйте. Снова едут молча. Старику это молчание, видно, не под силу. Он поглядывает на спины мужчин, на Алдону, Нору — будто ждет, чтобы кто-нибудь заговорил с ним. Первому начать неудобно. Но никто не обращает на него внимания. Наконец Нора сжалась над ним: — Мы тоже едем в Соднинкай. — Ага, я так и подумал. А то зачем бы в такую жару черные платки повязали. Он учтиво ждет, может Нора еще что-нибудь скажет. Не дождавшись, сочувственно осведомляется: — Стролисов хоронить? Нора кивает. — А я Буткусов. — И крестится: — Вечный покой даруй им, господи. Дедок чуть не подпрыгивает. — Буткусов?! — Ага. Их. По ошибке. Мстили Стролису, но перепутали хаты. Когда уже всех, кроме старухи — она мне двоюродной сестрой приходится, — когда всех уже... один бандит и говорит: "А ведь мы, кажись, не тех. Там один пацан должен быть, а тут их трое". — Старик опять перекрестился. — Пошли к Стролисам. И уже не ошиблись... — А за что... мстили? — еле выговаривает Алдона. — Какая разница? — Дедок недоволен ее вопросом. — За то мстили, — объясняет старик, — что при немцах партизанам помогли. Тогда, разумеется, никто не знал, а теперь... Повременить бы признаваться. Не такое еще время... — И, вздохнув, он продолжает: — Пошли слухи, что у Стролисов при немцах тайный погреб был, и они там партизан — особенно, которые раненые — прятали. "Меня тоже!" — хотела крикнуть Нора. Но голоса не было. — Там немец мертвый лежит. Похоронить бы, жара... — Дедок явно не хочет, чтобы он рассказывал. — Какой он немец! Из нашей деревни, Пулокас. Родителям уже сказали. — Помолчал. — Его-то за дело. Много, мерзавец, людей погубил, ой много. Только вот дружки его, тоже полицаи, в лесах ведь попрятались. И при оружии... — Старик сокрушенно качает головой. Тадас, кажется, вздрогнул. А может, просто так пошевелился — сидеть неудобно. — Он в немецкой форме, — говорит Нора. — Сам напялил. Чтобы люди пуще боялись. А теперь, говорят, немцы этих полицаев вместо себя оставили. Чтобы против большевиков воевали. И против тех, кто с большевиками заодно. Пока, мол, сами не вернуться. Не слышали? — поворачивается он к деду. — Сказывали, Америка теперь на их сторону переходит. — Не слышал. Старик нерешительно пожимает плечами. — Может, и не переходит. Кто ее разберет, Америку. Далеко ведь... Выходит, дедок знал, за что убили Стролисов... С самого начала знал, еще когда запрягать шел. Только ей не говорил. И этому старику не давал. Свернули на боковую дорогу. Нора узнала эти тополя! И крест-часовенка! Тогда, ночью, приняла его за человека. Долго стояла, боясь шевельнуться. А теперь подъезжает засветло. Только на похороны... Тех самых Стролисов, к которым тогда постучалась... Хоть бы лошадь куда-нибудь свернула. Или шла бы медленнее... Уже виден дом. Плетень. Журавль у колодца. Почему все во дворе, а не в доме? Когда они слезли с телеги, Нора поняла. Увидела. На земле, в один ряд — закрытые гробы. Четыре больших и один маленький. Винцукаса... — Конечно, некрашенные. Откуда теперь краска, — шепчет женщина рядом. — Но ребенку-то могли из целых досок сколотить, а не из обрезков, — отвечает другая. И правда, для Винцукаса сколотили из кусков. Только на крышке одна доска сплошная. И на ней углем начертан крест. На больших гробах тоже кресты. А может... Может, Стасе сейчас выйдет за порог, крикнет Винцукаса ужинать. А он отзовется и выбежит из-за угла... — Говорят, не только партизан прятали, — вздыхает первый голос. Да, не только! Норе вдруг захотелось втиснуться между гробами, быть с ними! Но живые туда не ложатся. А она живая... Она теперь живая, потому что тогда они ее впустили. Прятали, чтобы ее не расстреляли. И за это их убили. Конечно, не только за нее, но и за нее тоже. А она ничего не может сделать! Уже ничего!.. Что им от ее слез? Они должны были жить. Ходить по этому двору, черпать из колодца воду, видеть, говорить. Чувствовать, что они живые! А не лежать в этих заколоченных гробах... — Как раз в эту самую ночь мне снилось, — опять шепчет тот же назойливый голос, — что сено возим. И Стасе нам помогает. Я на возу, а она мне подает. Так ловко, быстро. Только нагрузили мы, я, значит, еду, смотрю- Стасе бежит сзади и протягивает мне Винцукаса, совсем маленького. "Возьми, — умоляет, — а то его убьют". Я хочу взять, но лошадей вдруг понесло, будто порожняком едем. Стасе бежит, подняв ребеночка, хочет догнать, и он ручонками тянется ко мне, и я к нему, а

взять его — никак... Утром и говорю невестке: "Сбегай-ка к Стролисам, не случилось ли чего. Уж очень мне плохой сон приснился". Нора отходит. Алдоны не видно. А возле дедка стоят два старика. — Шяуляй уже не сегодня — завтра возьмут. Хорошо бы. Сестра у меня там. — А у Риги Гитлер что-то крепко засел. — Ничего, выкурят. Нора возвращается к гробам. Там Винцукас, Стасе. Во дворе, где живые, их нет... Нет! Вдруг в голове мелькнула какая-то мысль. Нора старается ее поймать. Это очень важно! Стролисов нет. Но ведь не совсем нет! То есть их не будет потом. Но что они были — это есть. Осталось. И как партизанам помогали — осталось. И сами партизаны, которых они прятали, — теперь, наверно, опять воюют. Может, у Шяуляя — освобождают сестру этого старика. И ведь ее, Нору, тоже они оставили! Нора хочет сказать это всем, громко. Что Стролисы ее спасли, не дали убить! Что она будет такая, как они. Будто они и сами живы! Но если спросят, кто еще ее прятал? Узнают про дедка. А потом его тоже... Нора быстро глянула туда, где его только что оставила. Стоит. — ... Ксендз приехал... — ... А могила вырыта? Это для них могила. Для Винцукаса. Для Стасе... — ... Может, родня, что так плачет? Родня она им! Родня!

### Глава III

Дедок с Алдоной и Тадасом уехали на рассвете. Ночью Нора представляла себе, как она их просит не возвращаться домой. Объясняет, что это опасно — все ведь знают, что они ее прятали. Поэтому они должны ехать с нею в город. Дедок будет жить в ее комнате, Алдона с Тадасом — в папином кабинете. А сама она может на кухне. Когда начало светать, дедок вышел запрягать лошадь. Нора поспешила за ним. — Не езжайте домой. Поедем вместе, в город. — Ничего, будешь приезжать в гости. — Я не поэтому... — И Нора стала объяснять. Не так складно, как ночью, в воображении, но все-таки сказала про бандитов. А дедок даже не дослушал. — Думаешь, одних убили, так уж всех. Нора не отставала. Топталась вокруг него по сырой от росы траве. — Что ты ходишь за мной, как телка за... — Дедок не договорил. — Вы будете жить в моей комнате. Алдона с Тадасом... — А эта, — перебил он, показывая на лошадь, — в ванной? — Поедьте в город, — не унималась Нора. — Сходи разбуди Алдону, — сказал дедок. Но, видно, самому стало неловко за свою строгость. И он добавил: — Не думай ты об этом. Выловят их. — Но пока... — Говорю же — не думай больше о смерти. — Как это? Дедок пожал плечами. — Время научит. Нора не поняла. А дедок был недоволен. Он всегда недоволен, когда надо много говорить. — Жить будешь, а не прятаться. Война в прошлое уйдет, и смерть с нею. Вот и старайся не думать. Больше он ничего не сказал. Хлопотал вокруг телеги. Ворчал, что Алдона с Тадасом не идут. И будто невзначай поглядывал на Нору. Ей казалось — он хочет что-то сказать... Когда она просталась с Алдоной и обе плакали, дедок отвернулся. А когда с ним... Если бы Нора не стеснялась, она обхватила бы его худую шею и поцеловала бы эту небритую щеку. Пусть бы разревелась, зато сказала бы ему много, много... Но она только стояла и слушала, как дедок объясняет, чтобы не уходила отсюда. Придет русский офицер. Он хочет, чтобы Нора ему рассказала о Стролисах. И вот она ждет. В дом не заходит — там чужие. То есть они, наверно, родственники Стролисов, только она их не знает. Из дому выходит толстуха — та самая, в короткой блузе, которая вчера всем рассказывала свой сон. Под мышкой, еле обхватив — швы на спине сейчас лопнут, — несет две подушки. А в правой тащит ведро, в него напихана кухонная утварь. Торчит бок мисочки. Ручка сковородки покачивается на ходу, будто кивая Норе. Это же Стасино! В этой мисочке Стасе приносила ей в погреб горячий суп. Или картошку, посыпанную укропом... Норе кажется, она только теперь что-то видит. А все утро не замечала. То есть не понимала. Ни то, зачем мужчины осматривают хлев, ни ради чего спускаются в погреб. О чем спорят... Но дедок же не осматривал! И Алдона не ловила кур, как вот эта голосистая женщина. И рыжий усач, который нес гроб Винцукаса, ничего не взял. Уехал рано, вслед за дедком. А эти... Нора хочет что-то понять. Очень важное. Главное. Она силится объяснить себе. Дедок и тот, рыжий, ничего не взяли. А эти берут. Растаскивают. Нора сама испугалась этого слова. Даже совестно стало. Может, она зря... Но берут же. Не свое, а берут! Раньше она знала: плохие люди — те, которые

ее прогоняют. Не просят, чтобы она ушла, потому что боятся, а прогоняют. Потому что они злые, почти такие, как гитлеровцы. Но эти люди, здесь, ведь не злые. И вчера плакали... Так почему берут чужое? Жила же эта толстуха без Стасиной сковороды. А если все эти вещи останутся здесь? Одни, без людей. Покроются пылью... И все равно больно смотреть, как из дому уносят то, что недавно было Стасино... Наконец офицер пришел за ней и повел в соседний двор. Там красноармейцы мыли машины. Плеснут ведро воды, и она быстро, широкими струями стекает в песок. Только внизу, по краю, остается бисерная бахрома прозрачных капелек. Но и они, немного повисев, прыгают вниз. А солдат уже тащит другое ведро, снова льет, и в мокрый песок опять стекают струи воды. Офицер позвал ее в дом. Хозяев не было. Может, здесь жили Буткусы, которых убили "по ошибке"?.. Может, даже в этой самой комнате... Нора быстро пересела на другой конец стола, лишь бы не спиной к двери. Она, конечно, понимала, что теперь бандиты не ворвутся. Но все-таки... Офицер положил перед собой три листка чистой бумаги, достал ручку с вечным пером. Совсем такую, как папина. "Паркер". — Как твоя фамилия? — Маркельските. — А по национальности? Она молчала. — По национальности ты кто? Она понимала, что ему, советскому офицеру, можно сказать правду. Но все равно не решалась. — Меня прятали, чтобы немцы не убили. — Еврейка, что ли? Она нерешительно кивнула. И все-таки было не по себе от того, что он это записывает. — А теперь расскажи об этих — он заглянул в свой листок — о Стролисах. Только постарайся подробно, ничего не пропуская. Она начала рассказывать. Как той ночью, устав даже бояться, поскреблась к ним. Еще не успела попросить, а дверь раскрылась, и ее впустили. Повели на чердак, дали тулуп. Еще горячего супа туда принесли. И хлеба. Да, первые три дня и ночи она лежала на чердаке. Потом Стасе сказала, что в погребе теплее. Нет, вместе с нею там никого не было. И сенник в углу лежал только один. Кто там был до нее, она не знает. И кто после нее — тоже не знает. Просто однажды Антанас сказал, что погреб им срочно нужен. А ее он отвезет в другое место. И отвез к дедку. Тому самому, который тут вчера был. Офицер удивился. — Он мне не говорил, что ты у него тоже была. Конечно, не говорил... И Нора стала рассказывать о деде. Как он устроил ей на сеновале укрытие. Как приносил еду. Как Алдона на вилах протягивала чистую рубашку. Офицер и это записал. Потом подал Норе руку. — Спасибо тебе, Нора-Элеонора. Нора встала. — Торопись? — Нет... — Тогда подожди немного. — И он поспешно вышел. Машины во дворе стоят уже чистые. Но оттого, что сухие и не блестят, кажутся опять запыленными. Теперь солдаты сами, голые до пояса, моются. — Поешь. — Офицер ставит на стол котелок. — Спасибо. — Вот ложка. А я пока... тут недалеко... — Он выходит. Наверно, чтобы она не стеснялась при нем есть. Перловая каша. Совсем такая, какую приносил Илико. И тоже очень вкусная. Если было бы во что переложить, Нора оставила бы половину на завтра. Ведь теперь уже до самого дома ничего не будет есть. Но переложить не во что, и она съест все. Зато после такой каши можно несколько дней потерпеть совсем без еды. Она увидела в окно, что офицер возвращается, и не успела вылизать котелок. — Поела? — Да, спасибо. Можно, я пойду? — Иди, иди. Домой ведь направляешься, верно? Она кивает. И спешит добавить: — Только сперва еще на кладбище. — Подожди, — просит он тихо. — Понимаешь, время теперь сложное, война. У тебя могут попросить документы. — Но у меня же нет! — Да-да... Жаль, что ты не попросила у воинской части, которая тебя освободила, справку. — Он молчит. О чем-то думает. Неожиданно спрашивает: — Ты здорова? — Да. Только раньше болела, дома... — И Нора вспомнила, как мама ей делала компрессы и поила лимонной водой. А Нора морщилась, что больно глотать. — Расстегнись, — вдруг слышит она голос офицера. — Понимаешь, я врач, как и твой отец. А то, что я тут записал, — это для газеты. Чтобы о таких людях, как Стролисы и тот дедушка, знали все. — Не надо! — встрепенулась Нора. — Не надо. Ведь еще бандиты... Он вздохнул. — О дедушке, пожалуй, писать рано. Но Стролисам уже ничто не грозит... Пусть о них знают. — Спасибо. — А сейчас я тебя послушаю и выдам справку, что ты здорова. Больше, к сожалению, ничем помочь не могу. Офицер достает докторскую трубочку и начинает выслушивать легкие. Потом выстукивает. Как папа, когда она простужалась. И совсем как маленькой говорит: — Покажи язык. Скажи "а-а-а"... Оттягивает нижнее веко. — Ладно, застегивайся. А сам садится писать. Торопливо, будто волнуясь. Наконец подает ей сложенный пополам листок. — Может, все-таки лучше, чем ничего. — Спасибо. Нора берет свое пальто. — Минуточку... — Офицер догоняет ее. — Возьми, пригодится... — и сует ей в ладонь какую-то сложенную бумажку. — Большое спасибо... — И Нора поспешно выходит. Уже за деревней, почти у самого кладбища, она разжимает ладонь.

Там деньги, три червонца. А что он написал в той бумаге? "В/ч номер... августа 1944 г. Справка. Дана гражданке... которая во время оккупации жила нелегально (со слов)... что мною подверглась медицинскому осмотру... По пути следования к прежнему месту жительства... карантину не подлежит. Врач..." Нора входит на кладбище. Здесь пусто. Одни кресты у могил. Вчера она и не видела, что их так много... А ведь под каждым бугорком — человек. Это всё были люди. И ни один не хотел умереть! А все равно пришлось... Даже Винцукасу! И Нора вдруг почувствовала, как ему было страшно, когда ворвались бандиты. И Антанасу, и Стасе... На них наставили автоматы... Нора ускоряет шаг. Скорее туда, к ним. Но тут не они, а лишь большой бугор свеженасыпанной земли. И увядающие цветы. Только три бумажные лилии гордо держат свои навощенные головки на проволочных стеблях...

#### Глава IV

Вначале в теплушке было много свободного места. Но на каждой станции влезали новые люди. Сперва сидящие теснились молча. Потом стали ворчать. Даже те, кто недавно сами были без места и просили других подвинуться. — Не могли прицепить еще один вагон, — забрюзжала пучеглазая женщина, вынужденная взять свой узел на колени. — Распорядились бы, — ехидно ответила другая. — Говорят, теперь таких, как вы, слушаются. — Это моя нога! — послышалось у двери. — Так и держите ее при себе! — ответил недовольный бас. Но рюкзак все-таки отодвинул. Норе было странно, что люди сердятся только из-за того, что не очень удобно сидеть. Ведь можно потерпеть. Больше никто не залезает — совсем некуда. И так уж все сидят прижатые друг к другу. У Нориных ног дремлет сухонький старик, сидя на своем деревянном ящике. Ей смешно, что такой маленький самодельный чемодан заперт на огромный, почти амбарный замок. Стало темнеть. Стихли разговоры. Будто в сумерках каждому хочется отделиться, думать о своем. А может, просто, как этому старику, подремать... Норе в темноте тоже привычнее. Она закрыла глаза и слушает перестук колес. Синкопами. То на две четверти, то, словно споткнувшись, перескакивают на три. Нора подхватывает новый ритм и снова вторит. Вдруг ее кто-то толкает. Она испуганно открывает глаза. Неужели уснула? Поезд стоит. Все поднимаются с мест, пробираются к двери. Куда они? Там же ночь. Ни платформы, ни вокзальных окон. — Поезд дальше не пойдет? — спрашивает она кого-то рядом. — Зачем дальше? Приехали. Нора спрыгивает. Город! Конечно он, только затемненный. А где вокзал? Здесь же был вокзал! Развалины... Но шпиль костела вдали тот же. Она его узнает! Это город! Она приехала! — Куда ты? Нельзя. Солдаты не пускают. Других тоже. — Мне недалеко. Я бегом! — Кончится война, отменят комендантский час, тогда хоть бегом, хоть пешком, — острит солдат. — Даже всю ночь ходите. Зачем ночью ходить, если можно быть дома... Второй солдат — строгий. — Прошу всех следовать за мной в помещение временного вокзала! — Можно, я вам помогу? — Нора берет у идущей рядом старушки тяжелую корзину. Старушка поспешно цепляется за ее платье. Солдаты приводят их в пустой барак. Голые дощатые стены. Грязный пол. И ни одной скамьи. Только черное сукно затемнения на окнах и две лампочки под потолком. — Располагайтесь! — весело предлагает первый солдат. — Спокойной ночи. Все стоят. Будто ждут еще чего-то... Наконец старичок смущенно присаживается на свой деревянный чемодан с амбарным замком. Другие тоже начинают устраиваться. Кто на своих вещах, кто на полу. Даже растягиваются, подложив что-нибудь под голову. Норе подкладывать нечего. Она надевает пальто и сворачивается калачиком. Закрывает глаза. Чтобы не чувствовать, где она, представить себе дом... О доме Нора думала всю дорогу. И о маме. Может, она уже там? И папа, и бабушка... Они укладываются спать. Мама гасит ночничок. Сколько раз она представляла себе это. Они укладываются спать. Мама гасит ночничок... А сегодня это видение не приходит... Спальня пустая. И на кухне никого нет. И в кабинете... Нора еще крепче зажмуривается. Она должна, обязательно должна их увидеть. Маму, папу! Они в столовой, ужинают. Мама разливает чай. Подает папе варенье. Это было. Тогда. А теперь?.. Нора быстро садится. С открытыми глазами лучше. Она видит, что уже здесь. Вернулась! Наконец их выпускают в яркое солнечное утро. Нора спешит. Обгоняет тех, с кем

ехала в теплушке, лежала ночью в бараке. Она торопится домой! Сколько развалин... А раньше это были красивые дома — с витринами магазинов, балконами... Но, может, так только здесь, потому что рядом вокзал и метили в него? А там, дальше, не будет?.. Нора сворачивает за угол. То же самое... Между уцелевшими домами стоят беззаконные- словно каменные слепцы с пустыми глазницами. Неужели и на их улице такое?! Нора бежит. Сейчас она увидит! Сейчас! Останавливается. Может, это... не их улица? Она... По левой стороне дома остались. Аптека. И та же чаша со змеей на вывеске. Парикмахерская. Даже та самая картинка в окне — красивый напомаженный мужчина улыбается прохожим... Когда-то Нора думала, что ночью это, наверно, выглядит очень странно — на улице никого нет, а он все равно улыбается. В темноту. И теперь он так же радостно смотрит на эти груды развалин напротив. Даже не узнать, где стоял их дом. Одни горы битого кирпича и гнutoго железа. Вдоль всей улицы, до самого поворота. Но она найдет! Хотя бы место. Раньше эта парикмахерская была наискосок от окна ее комнаты. Нора поворачивается лицом к парикмахерской, отходит немного вправо. Еще. Кажется, здесь. Конечно! Эти две трещины на тротуаре были как раз перед подъездом. Нора их прозвала реками. Потому что большая, петляющая похожа на Немунас, а вторая, "впадающая" в нее, — на Нерис. Они не изменились... Нора быстро поворачивается — а вдруг и подъезд тут? Нет... Она всматривается в эти обломки рассыпавшихся стен. Может, найдет хоть что-нибудь знакомое... Увидела! Этот кусок — из ее комнаты. Те же синие цветочки. Только на стенах их было очень много. Однажды, когда болела, Нора пыталась сосчитать. Но все сбивалась — начинало рябить в глазах, будто цветочки прыгают туда-сюда. Теперь их всего восемь... И больше ничего знакомого. Обломки, железо. Наверно, под ними... Нора силится представить, что там. Но не может. Она забыла! Совсем забыла, как выглядели их комнаты... Она закрывает глаза. Чтобы вспомнить. Ведь все время- и в деревне, и по дороге, даже ночью, в этом вокзальном бараке помнила. Почти видела. А теперь... И с закрытыми глазами видит только эти развалины. Разжимает веки. Опять они... Дома нет... "А школа?" Ей почудилось, что кто-то спросил это вслух. Но никого нет. Люди только на той, уцелевшей стороне. На этой, неживой — она одна. И все равно Нора повернула к школе. Привычной своей дорогой. Но не мимо булочной, откуда бабушка по утрам приносила хрустящие "кайзерки". И не мимо мехового магазина с выставленными в витрине манекенами в дорогих шубах, а мимо одинаково серых развалин. Солнце отыскивает в них осколки стекла и заставляет сверкать. Наверно, чтобы здесь не было так мертво... А люди? Где люди, которые здесь жили? Неужели под этими развалинами? Строились под земляным холмом, здешние люди — под каменными буграми. А дедок говорил — не надо думать о смерти. Каштаны! Это уже школьный переулок. А там, в конце — школа! Но... никто туда не идет. Не обгоняет, размахивая портфелем. Она одна... Окна школы закрыты. И дверь заперта. Может, кто-нибудь есть во дворе? Нора быстро оглядывает угол. Тоже пусто. Только у стены много сломанных парт. На спортплощадке одиноко свисают с ободков баскетбольные сетки. Никого нет. Нора медленно поворачивает назад. Очень странно так идти — никуда и ни за чем... Даже теперь, когда она уже лежит, Норе кажется, что все еще ходит. Бредет с пальто в руках по городу. С одной улицы на другую. Целый долгий день. Сперва не думала, куда идет. Просто переставляла ноги. Одни улицы выглядели почти как раньше, другие казались совсем непохожими, будто чужими. Внезапно Нора остановилась. Она пришла к Юдите! И дом остался таким же, как был! Знакомый, прежний. Но что-то и здесь изменилось. Окна целы. И двери есть. Подворотня та же... Нет вывески! Белой с черными буквами вывески Юдитино отца: "ЗУБНОЙ ВРАЧ... ПРИНИМАЕТ с... до..." Остался только светлый, будто вылинявший квадратик. И четыре дырочки от шурупов. Уже затянутые паутиной. Нора вошла во двор. Там, в углу, их подъезд. Но приблизиться не решалась. Вывески ведь нет... Она спохватилась, что стоит возле небольшой коричневой двери с табличкой: "ДВОРНИК". Дядя Ян! Быстро нажала на звонок. Дядя Ян ее не узнал. — Я подруга Юдиты, Нора Маркельските. — Господи! — Тетя Янова отпускает дверь, чтобы перекреститься, и та медленно уплывает к стене, раскрываясь. Нора входит. — Юдита дома? — Нора сама еле слышит свой голос. Они переглядываются. И ей хочется повернуться, выбежать, только не слышать ответа! — Нет Юдиты. Забрали. Забрали... — Да ты садись! — всполошилась тетя Янова, будто главное теперь — чтобы Нора села. Она послушно опустилась в плетеное кресло. Это кресло раньше стояло в приемной Юдитино отца... — Не думай, что мы сами... — Дядя Ян, видно, понял, что она узнала. — Пан доктор отдал. Еще когда дома был. — Нам чужого, боже упаси, не надо! — спешит подтвердить и жена. — Наш Яцек на

фронте. Согрешим, не дай бог, с ним что случится. И не только поэтому. Мы вообще чужого... Норе неловко, что они перед нею оправдываются. — А нашего дома совсем нет... — Да, много хороших домов погубили, — сетует дядя Ян. — Еще могли бы стоять и стоять... — Что дома, — вздыхает тетя Янова, — людей сколько... ни за что ни про что... — И она сочувственно смотрит на Нору. — А твои где? — Папа на фронте. А маму с бабушкой немцы забрали. Тетя Янова опять вздыхает: — Хорошие были женщины. И другие тоже... Люди как люди. Только немец разве смотрел?... Бывало, увижу, как гонят, да с малыши ребяташками... И так мне их жалко, так жалко... — Тыльной стороной ладони она проводит по глазам. — Хорошо, что хоть ты осталась, — говорит дядя Ян. — Хорошо... — соглашается Нора. Стало совсем тихо. И Нора поднялась. Опять знакомо скрипнуло кресло. — До свиданья. — С богом. Она вздрогнула от звука захлопнувшейся за спиной двери. Но сразу вспомнила, что теперь это нестрашно... Только теперь она почувствовала, как проголодалась. И вспомнила про деньги — от тех трех червонцев, которые дал офицер, остался один. А там, за углом, рынок. Нора заспешила туда. Рынок она узнала сразу. Такой же, как раньше. Только много пустых прилавков. Зато на тех, где торгуют... Пирамиды бело-красных редисок. Маленькие штабеля зеленого лука. Островки яичек, по десять. Только хлеб почему-то несмело, будто тайком, выглядывает из-под тряпичных прикрываний. Зато сало, настоящее толстое сало, лежит распеленутым. Норе очень хотелось купить яичек. И Стасе и Алдона собирали их для продажи. Но на яички ей не хватит денег. И хлеба никто на червонец не давал. Неожиданно она заметила, что женщина с мальчиком на руках покупает три яичка. Раскручивает — не сырые ли? Значит, можно купить и одно? Нора подала свой червонец, и худая рука протянула ей яйцо. А деньги спрятала за пазуху. Она отошла к забору и принялась нетерпеливо чистить яйцо. Хотела есть медленно, долго. Но оно такое маленькое... И снова побрела домой. Ничего не изменилось. Те же руины вдоль улицы. Только теперь более знакомые. Нора повернула обратно. Шла медленно, опустив голову, и только видела, как чередуются носки ботинок — то появляется левый, стертый почти добела, то правый, с черной заплатой. Стертый — с заплатой — опять стертый... Будто они сами, отдельно от нее, меняются местами — то один опережает, то другой выступает вперед. Зарябило в глазах. Нора стала смотреть чуть дальше — на ноги прохожих. У всех обувь, даже босоножки, на деревянных подошвах. Вдруг она вздрогнула: мама! Побежала. Но сразу поняла: не мама. Просто платье у той женщины такое же. Все равно шла за ней. Смотрела, как шевелятся на ходу знакомые бело-синие полоски. Женщина вошла в подъезд, и Нора снова осталась одна. Но не уходила — может, женщина сейчас выйдет, и на улице снова будет мамино платье. Мама сшила его, когда они собирались в Бирштонас на дачу. Нора ходила с нею на примерки. Она всегда ходила с мамой к портнихе. Там много лоскутков — красивых, разноцветных. Норе хотелось их собрать, сшить, чтобы получился большой ковер — пестрый и "непонятный". Женщина не выходила. Наверно, осталась дома. Платье повесила в шкаф, и висит оно там в темноте, среди других, чужих. Да если бы и вышла? Ведь только платье у нее такое, как у мамы... Нора опять пошла. По улице вверх. Там, на горке — театр. Есть ли хоть он? Она ускорила шаг. Цел! И балкон над входом тот же. И колонны. Только рекламные витрины пусты, стекла выбиты. Но это ничего. Ничего... А там, за театром, должен быть костел. Небольшой и очень красивый, из светлого кирпича. Нора опять заспешила. Стоит. Только белокирпичные стены забрызганы грязью. Подошла поближе. Не забрызганы они. И не грязь это. Выбоины. Множество мелких выбоинок. От пуль, от осколков. Сюда они тоже летели. Со злым свистом — в эти светлые кирпичики. Быстро выклонув такую оспину, отскакивали. Но летели новые, другие, кругом грохотало. Нору охватил старый ужас — маленькая свинцовая пуля летит ей в затылок! Она резко обернулась. Никто в нее не целится. Даже не стоит сзади. Здесь улица. Идут обычные люди. Нет ни одного в гитлеровской форме. И все равно она заспешила прочь. Только начав задыхаться, замедлила шаг. Проходил и страх. Чтобы совсем избавиться от него, Нора стала смотреть на дома. Хотелось с ними здороваться, сказать им, что вернулась! В памяти что-то мелькнуло. Какое-то воспоминание. Но она не успела ухватиться, оно исчезло, почти не возникнув. Нора силилась вернуть это мгновение. Напряженно всматривалась в улицу, в каждый дом. Что они должны напомнить? ...Она однажды уже проходила так мимо них... Тоже медленно. Только не одна. С классом? Нет, их было много. Шла вся школа! Несли саженцы лип. Это было в праздник посадки деревьев. И посадили их там, на той аллее — Нора от волнения забыла ее название, — которая вьется по склону горы вниз. Повернула туда. Как они выросли! Стоят вдоль всей аллеи, будто шеренга

заколдованных стражников в огромных зеленых папахах. Охраняют подступы к горе. Но это, конечно, не стражники. Деревья. Те самые деревья, которые посадила ее школа. Какие они тогда, саженцы, были тонкие! Юдита все боялась покалечить корни. Она держала, а Нора окапывала. Потом поставили палку для опоры. Теперь этих подпорок, конечно, нет. И не нужны они — стволы толстые, крепкие. Дерево осталось, стоит. А Юдиты нет. Какое из этих посадили они? Кажется, где-то недалеко от края. Нора обошла каждое, осмотрела. Все они одинаковые. Жаль, что тогда не догадалась сделать знак. Только, помнится, веревка, которой привязывали подпорку, была очень лохматой. Нора глянула на землю — может, валяется? А ведь это дерево тоже видит ее. И тоже не узнает... Пусть растет! Вдруг Нора вспомнила — это же сказала Юдита. Когда они окопали и полили дерево. Потом они ушли. Не домой еще. Всем классом полезли на гору — смотреть, строится ли дом пионеров. Что творилось! Мальчишки заявили, что они смельчаки из рассказа Билюнаса "Огонь счастья" и лезут на заколдованную гору за волшебным огнем, который должен принести людям счастье. Кругом выли "злые духи", смельчаки падали, "превращаясь в камни". Но, совсем не как в сказке, сразу вскакивали и лезли дальше, разом изображая и злых духов и смельчаков. Даже учитель не мог их утихомирить. А когда поднялись на гору, сами перестали дурачиться. Уже вырыт котлован! Большой, квадратный. Значит, и дворец будет такой большой. Гадали, сколько построят этажей, какие там будут комнаты. И Норе захотелось опять увидеть этот котлован. Она стала подниматься. Как тогда, прямо по склону. Но теперь одна. И было очень тихо. На горе — ничего. А вместо котлована — обычная яма. Неглубокая, заросшая. Можжевельник тут выглядит уже старожилом. Даже щавель растет. Только мелкий, не такой, как на лесных полянах. Все равно Нора спрыгнула вниз и стала его рвать. Жевала быстро, по целой горсти сразу. Не успев проглотить, уже пихала в рот еще — только бы он не был пустым. Только бы есть! Заныли скулы. От кислоты начало сводить язык. Даже слюна стала нестерпимо кислой. И все равно Нора не могла оторваться. Она понимала, что надо уходить, — этим щавелем не насытиться. Но руки сами продолжали отщипывать листья и подносить их ко рту. Неожиданно она резко выпрямилась, выбралась из ямы и стала быстро, не оглядываясь, спускаться. Опять пошла. Прямо, к реке. Моста нет. Только огромные искореженные железины торчат из воды. А она бурлит, недовольная тем, что ей мешают течь. Кажется, даже силится их сдвинуть, снести. Но они стоят. Будто терпеливо ждут, что люди их выпрямят и снова превратят в прежний красавец мост. И опять поедут по нему машины, заспешат пешеходы. А вода внизу потечет спокойно, послушно... Нора побрела по набережной. К дому, где жила учительница музыки, Статкувене. От этого дома осталась только одна стена. И свисающие с балки четыре ступеньки. В никуда... А учительница? Нора смотрела на окна соседних домов. Будто надеялась, что учительница где-то тут, рядом. Сейчас выглянет, позовет. Но никто не звал. Она поплелась дальше. К переулку, по которому всегда возвращалась от учительницы домой. Он был такой узкий, что хозяйки переговаривались друг с другом, не выходя из дому. Норе бывало очень смешно слушать, как одна жалуется, что рыба пригорела, а четыре-пять голосов из разных окон дают советы, что с ней делать. Теперь здесь было безжизненно тихо, одни руины. Даже мостовую завалило. Только узкая извилистая тропинка виднелась между камнями. Но ноги больше не шли... Она опустилась на обломок стены. Кирпичная глыба напротив казалась похожей на медведя. Железо рядом с ней было изогнуто, будто приподнявшаяся змея. Настоящая бы давно уползла. А эта торчала не двигаясь. Нора заставила себя подняться. Побрела на вокзал. Еще издали она заметила, что там много людей. Уезжают?! Почему? Она подбежала, вмешалась в толпу. Хотела услышать, о чем говорят, почему уезжают. Но говорили совсем о другом. Она спросит! Нора стала протискиваться к краснощекой деревенской тетке, восседавшей на своих узлах, словно вышитая "баба" на чайнике. Но та подозрительно покосилась и, проворно схватив стоявшую у ног корзину, быстро водворила ее к себе на колени. Нора прошла мимо. Не станет у нее спрашивать. И у других не будет. Сама поймет. Эти люди ждут поезда. Они уезжают. Каждый куда ему нужно. Ведь раньше, до войны, тоже уезжали. Или, может, они тут не живут? Конечно. Потому и уезжают. Нечего пугаться. Она уже собиралась уходить, но остановилась, пораженная: а сама она где живет? Ведь дома нет... Ей же негде жить. И мамы нет, и бабушки. И папы... Она совсем одна! Нет, нет! Только не надо представлять себе этого! Она пока одна. Пока. А потом... Она уже давно научилась этому. Как только становится особенно страшно, надо сразу подумать, что так только сейчас, пока. Чтобы казалось — это теперешнее плохое пройдет, надо только потерпеть. Потом будет иначе, лучше.



А главное — нельзя признаваться, что и правда очень плохо. Что невыносимо плохо. Потому что когда плачешь... Нет, она не будет думать об этом. Просто ей сегодня негде ночевать. Но теперь это совсем не страшно — никто ее не схватит, не погонит. Но оставаться на улице ведь нельзя — комендантский час. А сараев и хлевов в городе нет. Зато есть чердаки! В каждом доме. В их доме тоже был. Там белье сушили. В углу стояли ее саночки и старые кресла из папиного кабинета. Если их сдвинуть — можно на них лежать. Нора спохватилась, что снова идет к дому. А его ведь нет. И чердака тоже... Она повернула назад. Шла и убеждала себя, что надо найти чердак. Но сразу решиться не могла... Нора уже знает: если она чего-нибудь не может сделать, то должна себе строго сказать, что надо. Обязательно надо. Никто другой за нее этого не сделает. Сперва кажется, что она все равно не сможет. Но потом привыкает к этому "надо", уже почти перестает себя уговаривать, и тогда... Нора завернула в подъезд. Стала подниматься по лестнице — неслышно, осторожно. Прошла один этаж. Второй. Уже была на самом вершине, остались последние, предчердачные ступеньки. Но неожиданно за спиной открылась дверь. — Вам кого? — спросил женский голос. — Выше никто не живет. — Простите... — Нора побежала вниз. Мимо удивленной женщины, мимо закрытых дверей других квартир. Только когда снова вышла на улицу, там, наверху, хлопнула дверь. Опять побрела. Но в подъезды не входила. Одни стояли плотно сомкнувшись, а вычурная резьба на дверях словно подчеркивала их непрístupность. Другие, хотя и обыкновенные, и даже настуже открытые, зиянием черной пустоты тоже будто прогоняли — проходи, ты чужая! И только обшарпанным подворотням, казалось, было все равно — войдет в них кто-нибудь, не войдет... И Нора вошла. Отыскала лестницу черного хода. Тихо поднялась. Но чердак был заперт. Она спустилась вниз. Зашла в соседний двор. И там на чердачной двери висел замок. Большой, черный. Завернула еще в один двор. Потом еще... Поднималась, дергала дверь и спускалась. Поднималась, спускалась... Много лестниц исходила — темных, крутых, винтовых, с поломанными перилами и с отколотыми ступеньками. Но чердаки везде были заперты... Уже совсем усталая, она мимо какой-то подворотни прошла не сворачивая. Вторую тоже миновала. И третью... Просто брела по улице. Больше не высматривала, что уцелело. Не радовалась узнаванию. Ей даже казалось, что она здесь чужая, приезжая. По улицам ходить может, но зайти некуда. А ночью? Чтобы ее пропустили, она опять должна постучаться в чужую дверь... Но облав же больше нет. Просить только ночлега? Его она должна найти сама. Ведь искала. Везде заперто. Все равно Нора не могла себе представить, как она опять стучится и просит, чтобы пропустили... Но тогда ведь просила. То было тогда. А теперь... Теперь она не может постучаться к незнакомым людям. А знакомых нет. "Дядя Ян!" — вспомнила она Юдитиногo дворника. Зашагала быстрее. Не смотрела на подъезды, не думала о чердаках. Даже не волновалась, что на улице мало прохожих и, наверно, скоро комендантский час. Дядя Ян очень удивился. Но пригласил войти. Тетя Янова опять предложила сесть. Только они явно ждали, чтобы Нора объяснила, зачем пришла. Она объяснила. То есть спросила, можно ли ей остаться у них на ночь. Хоть в кухне, на полу. Они молчали. Нора уже хотела встать и уйти. Но дядя Ян неожиданно сказал: — Зачем на кухню... — Он посмотрел на жену. — Может, пустить к студенту? — А чего ж нет? — с готовностью согласилась она. — Пусть живет. — Пойди, отведи. Тетя Янова повела ее через двор. — Я только на одну ночь, — повторила Нора. — По мне хоть на десять. Комнатка хорошая, солнечная. А что небольшая — так убирать меньше. Студент был очень доволен. — И объяснила: — Это мы его по привычке все студентом называли. А он уже учителем был. — Когда он вернется, я уйду, — пообещала Нора. — Не вернется, — вздохнула тетя Янова. — Оттуда не возвращаются. — Его тоже?.. — Гестапо. Говорят, партизанам помогал. Тетя Янова дышала тяжело — они поднимались по лестнице. — А обыск какой был! И вывезли все до ниточки. Бумаги, книги. Даже на кальсоны, просты господи, польстились. — Она устало перевела дух. — Но дверь все равно опечатали. И правда, между двумя сургучными нащепками протянута веревочка. Тетя Янова ее сорвала и толкнула дверь. Даже не заперта... Вошли в маленькую мансардную комнатку со скошенным потолком и крохотным, будто в домике гномов, оконцем. Тетя Янова распахнула его, и в застойную затхлость стали вливаться волны теплого уличного воздуха. — Вот и живи. — Спасибо! Большое вам спасибо! — Чего уж... Тетя Янова вышла. Стих на лестнице стук ее деревянных подошв. А Нора все еще стояла у порога. Плюш кушетки исполосован ножом. Разворочена набивка, торчат пружины. Ящики комода выдвинуты. А этажерка стоит совсем пустая, будто нагишом. Только стол накрыт старой коричневой скатертью. С бахромой. Видно, забыли. Но

она выглядит странно одинокой в этой голой пустоте. Нора закрыла дверь. Осторожно ступая, подошла к комоду. Стала бесшумно задвигать его пустые ящики. Только в последнем, нижнем лежал рукав мужской рубашки с накрахмаленным, но потертым манжетом. И очки. Металлическая оправа с одним стеклом. Второй ободок пустой... В углы ящика набились табачные крошки. Нора задвинула и его. Поднимаясь, чуть не стукнулась головой о скат потолка — он тут был почти над самым комодом. Зато увидела три гвоздя. На один повесила свое пальто. Теперь комнатка стала казаться более своей. Над кушеткой в обои воткнута иголка с белой ниткой. Можно будет зашить кушетку. Но потом, завтра. Теперь — лечь. Только лечь! Еще больше заныли усталые ноги. Будто в них заработало множество крохотных бормашинок. И все они сверлят, буравят. Она закрыла глаза. Лежит... И может так лежать долго. Всю ночь. Нора понимает, что она здесь, на кушетке. А кажется, будто все еще ходит. Бредет с пальто в руках по городу. С одной улицы на другую...

## Глава V

Хватит тебе, сам кончу. — Дядя Ян забрал у Норы метлу. Он вообще недоволен, что жена позволяет ей подметать двор. Но иначе Норе было бы неловко к ним заходить — будто только для того, чтобы ей налили тарелку супа. Она подошла к тете Яновой и тихо, чтобы дядя Ян не услышал, спросила: — Когда пойдем мыть окна? — Позже. — Можно, я пока поднимусь наверх? Только вы меня обязательно позовите, хорошо? — Ладно, позову. Норе не терпится продолжить письмо. Дедок, конечно, будет ухмыляться — не письмо, а целый дневник. Но пока нет марки, а рассказать им хочется все. Она и описывает каждый день. Открыв дверь, Нора не сразу поняла, что тут изменилось. Темнее стало, или... Скатерти нет! Стол совсем голый. И в пятнах. Видно, ставили горячее. Фанера по краям тоже облуплена. А пальто? Нора испуганно глянула в угол. Висит, повернувшись серым блином заплаты. Ящики комода задвинуты. Плюш кушетки тоже не вспорот — белые стежки на старых порезах целы. А письмо? Нора подбегает к комоду, выдвигает верхний ящик. Лежит. А стол голый. Скатерти нет... Значит, здесь кто-то был! В этой комнате. Был... Вошел. Осмотрелся. Поспешно стянул со стола скатерть. Может, сунул ее под мышку. И выбежал. Почему ей не приходило в голову, что сюда могут войти? Ведь днем ее нет. А дверь незаперта. Только на ночь вместо крючка она привязывает к скобам шнурок от ботинка. А у всех людей двери заперты. Даже чердачные. Ей тоже нужен ключ... Может, дядя Ян даст? Ведь когда незаперто, могут подумать, будто здесь никто не живет. А она здесь живет! Норе очень нравится это повторять — живет! Не прячется у чужих, а живет, у себя! Немножечко странно, даже почти смешно от этого непривычного "у себя". Она смотрит на голый стол, пустую этажерку. И очень хочется, чтобы здесь выглядело как в настоящей комнате. Надо положить салфетки! Нора быстро достает из комода свою бухгалтерскую книгу. На днях нашла ее, почти новую, у мусорного ящика. Вырывает два листка и кладет их на комод. Он сразу стал другим, почти нарядным. Нора вырывает еще четыре — по одному на каждую полку этажерки. Они тоже забелели. Даже в комнатке стало светлее. Были бы ножницы, Нора вырезала бы узоры. И на стол положила бы такую салфетку. Но больше вырывать нельзя — не останется для писем. Зато из этих твердых обложек можно сделать бювар и закрыть самые большие пятна. Нора вырывает еще одну страницу и садится писать письмо. В верхнем углу листка перечеркивает слово "дебет" и под ним красиво выводит: "Дорогая Алдона!" А глаза уставились в эти пятна на столе. Когда лежала скатерть, Нора и не знала, что их тут так много. Господи, почему она столько думает об этой скатерти! Ведь это только кусок материи и даже не ее, а того человека, который тут жил раньше. И своих вещей тоже нет. Ни платьев, ни нот. И пианино нет... "Дорогая Алдона!" Нора смотрит на маленькую шеренгу букв на чистом разграфленном листе из бухгалтерской книги. Достает другие исписанные листки и принимается перечитывать — уже в который раз — то, что писала вчера, позавчера... И кажется, будто снова едет в теплушке... Бродит по городу... Ложится на эту изрезанную кушетку... Наутро идет, как велел дядя Ян, в милицию просить паспорт. "Тогда он меня здесь пропишет, и я смогу пойти работать. А тем, кто работает, дают хлебную карточку". Зря только

написала, что паспорт ей дадут не совсем настоящий, а временный, на три месяца. Он так и называется: "Временное удостоверение". Потому что у нее нет никаких документов. Чтобы дедок с Алдоной не расстроились, Нора дописывает: "Но на работу берут и с таким удостоверением. Хлебную карточку тоже выдают. А три месяца — это же долго. Дядя Ян говорит, что за три месяца, может, и война уже кончится. Его сын Яцек, который на фронте, пишет, что они фашистов сильно бьют". Нора еще раз перечитывает последние слова — что фашистов бьют — и начинает сегодняшнее письмо. "Вчера я повесила объявление, что ищу маму, папу и бабушку. Тут есть такое место" — она подчеркивает последнее слово и пишет: "помещение бывшего магазина, где прямо на стене каждый может повесить объявление, кого он ищет. Там уже очень много таких объявлений. И я повесила свое. А сегодня вечером пойду посмотреть, может..." Нора закрывает глаза. Представляет себе, что на ее листке — тоже из этой бухгалтерской книги, — под ее строчками с маминой, папиной и бабушкиной фамилиями написано... — Нора! Это тетя Янова зовет мыть окна. — Иду! Нора вскакивает и поспешно сует странички в ящик комода, задвигает его. Края "салфеток" от этого дуновения чуть приподнимаются и сразу опять припадают к потрескавшейся фанере. Нора сбегает вниз. "Фройляйн". Пленный немец ее так назвал, и теперь это слово не отстает. Будто идет вместе, даже в ногу. Тоже спешит туда, где висит ее объявление. Фройляйн... Фройляйн. Сперва Нора даже не поняла, что это ее окликают. Усердно терла стекло, чтобы оно стало таким чистым и прозрачным, будто его вовсе нет. А вниз, где пленные немцы почти у ее ног разбирали развалины, старалась не смотреть. Она их не боялась — рядом красноармейцы. И такие — без оружия, в блеклых гимнастерках и расстегнутых мундирах — немцы совсем нестрашные. Она просто не хотела смотреть на них. Но это назойливое "фройляйн" заставило взглянуть. Внизу стоял немец и на вытянутых руках держал пилотку, полную самодельных алюминиевых расчесок. — Табак, хлеб, — заискивающе улыбался он. — Атлично, — хвалил второй, видно, компаньон. Растопыренными пальцами он показывал Норе, как эти расчески хорошо причесывают. Нора мотнула головой и опять принялась тереть стекла. Но пленный не отставал. Говорил, что скоро ее волосы будут такие вот длинные, поэтому расческа обязательно нужна. Непричесанных кавалеры не любят. Кругом засмеялись. Но он снова стал серьезным и сказал просящим голосом: — Мошшет, вирд эйне другая фрау купить? За табак, хлеб. Нора слезла с подоконника и пошла на кухню. Там хозяйка гадала тете Яновой на картах. — Немец пленный расчески за табак предлагает. — Пускай ими чертям хвосты расчесывает, — буркнула тетя Янова и сразу перекрестилась: — Прости, господи! — Чего мужик не сделает за лишнюю самокрутку, — не то с осуждением, не то с удивлением сказала хозяйка. Не вставая, она заглянула в кастрюлю. Так же сидя достала мисочку, вспугнув рой дремавших на плите мух, и налила два полных черпака густого, пахнущего шкварками картофельного супа. — Снеси. А расчески пусть оставит себе. — Не голодные они... — снова сказала тетя Янова. — Кормят их. — Люди все ж таки... Хоть и нелюди... Нора еще не успела понять, что это ее посылают нести немцу суп, как тетя Янова выхватила мисочку. — Нечего тебе, сама снесу. Нора вернулась мыть окна. Видела, как тетя Янова выходит из подворотни. Мисочка полная, и весь ноготь большого пальца окунут в суп. К ней спешит, перепрыгивая с выступа на выступ, продавец расчесок. На ходу протягивает свой товар. Тетя Янова машет рукой — не надо ей этого, суп так, задаром. А он даже не подзывает своего компаньона, который помогал хвалить товар. Садится в сторонке на обломок стены, достает завернутую в тряпочку ложку и принимается есть. — Приятного аппетита, — раздаются кругом голоса. Норе кажется — они подшучивают, чтобы скрыть зависть. Только один бритоголовый и длинный, как жираф, пленный бросает полные ненависти и презрения взгляды. Злитесь, что тот унизил высшую расу простой тарелкой супа? Другие даже голов не поднимают. Не им дали, нечего глазеть. Работают. Кирками дробят большие глыбы, таскают носилки. Тогда своими бомбами превратили дома в руины. Теперь эти руины убирают. Старательно, спокойно. Будто не они этому виной... И улыбаются. Тете Яновой за тарелку супа, ей — чтобы купила расческу. А если бы они тогда нашли ее? У дедка, Стролисов. Или у Петронеле?.. Вытолкнули бы с криком и пинками. Погнали бы к лесу... И заставили бы себе вырыть могилу. Они?! Эти самые, которые здесь — в блеклых гимнастерках без ремней? Нора даже зажмурилась, чтобы представить себе их прежними. В высоких фуражках. С автоматами, пистолетами. Они ходили по квартире, кричали на маму. Торопили бабушку — если она сразу не выйдет, пристрелят на месте. Бабушка так и ушла не одетая — у кровати остались ее чулки, кофта. Нора быстро открыла

глаза. Пленные немцы убирают развалины. А который тогда выгонял бабушку? Как теперь узнать? Как отличить? Нора стала торопливо протирать два последних стекла. Чтобы скорее кончить, уйти отсюда. Не слышать их голосов. А главное — побежать туда, где висит ее объявление. Может, его уже прочли... Нора кончила мыть. На кухне хозяйка, только уже одна, все раскладывала карты. Гадала сама себе. Велела Норе сполоснуть мисочку, ту самую, из которой ел немец. Так же не вставая и опять вспугнув рой мух, налила два полных черпака супа. Всем одинаково. Что ей, что пленному... — А это за работу. — Она придвинула Норе полбуханки хлеба. Сверху маленьким квадратиком розовел кусочек сала. Добавила еще и луковицу. — Спасибо. — Заверни. — Хозяйка протянула Норе белую тряпку. — Бумагой не богата. Газет не читаю, а в магазинах теперь не заворачивают. — Я вам завтра верну. — Не велико добро, можешь выбросить. Она не выбросит. Обметает и получится маленькое полотенце. — Большое спасибо! Нора не стала это заносить домой. Сразу заспешила туда, где на стенах, словно большие одноцветные бабочки, — бумажки. Ее листок тоже там. С тремя фамилиями. Вдруг Нора замедляет шаг. Может, не стоит туда идти? Ее объявления еще не прочитали... Но тот дом будто сам приближается. Уже совсем близко... А там, за дверью... Нора входит. Сегодня здесь как-то темнее. Может, потому, что очень много людей. К стенам не подступиться. Одни читают объявления, другие прикалывают новые, свои. Но самая толча в середине. Все двигаются, переходят с места на место, будто переплетаются между собой. И спрашивают. Друг друга. Нескольких сразу. С беспокойством, упованием, мольбой. Но в ответ только сожалеющее качание головой. И такой же вопрос. Тоже безответный... А все равно не уходят, спрашивают. Других, тех же самых. Ничего, что во второй раз. Лишь бы не пропустить кого-нибудь, опросить каждого — всех. С упорством, с неистовой надеждой. Как будто им кажется невероятным, чтобы именно здесь, где сразу так много людей, не нашлось хоть одного, хоть кого-нибудь, кто знает о его близком. Нора проталкивается в левый угол, куда вчера повесила свое объявление. Ее тоже спрашивают. Дергают за руку, заглядывают в лицо. Называют имена, фамилии, возрасты, адреса, приметы. А она только мотает головой. Нет, не знает. Сама ищет. Еще издали она замечает, что под ее тремя строками ничего... Белеет бумага... Никто из этих людей не знает. Ни о маме, ни о папе... А может, не прочли ее объявления? Она тоже будет спрашивать! Каждого, всех. Но она стоит. Так сразу заговорить с незнакомыми людьми она не может. Даже вздохнула — почему всегда надо делать то, чего не можешь?.. Но одернула себя. Она будет спрашивать! Будет! Только, может, не всех? Тех, кто проходит, не читая ее объявление? Нора встает у стены. Люди подходят, взглядом скользят по ее листку, по другим — верхнему, нижнему — и переходят к соседним. Тут приостанавливаются другие, тоже пробегают глазами и тоже отодвигаются дальше. Нора не видит, какие они. Не следит, откуда подходят, куда уходят. Она смотрит только на их глаза — как прочитывают ее строчки. Может, затемятся... Так много глаз, и ни одни не останавливаются. Неужели никто даже фамилию не узнает? Ведь у папы с мамой было столько знакомых. Вдруг Нора замечает, как худая старушечья рука с красной шерстяной ниткой на запястье (это от хворей — мелькнуло в голове) потянулась к ее объявлению. Снимает его. Приближает к своим близоруким глазам в пенсне. Будто изучает почерк. Кто она? Раньше такие были только на портретах. Волосы седые, а все равно в букольках. С пенсне свисает серебряная цепочка. Худую шею облегают ряды кружевных рюшечек. Листок в ее руке задрожал. Она знает?! Нора уже порывается спросить, но старушка прикалывает объявление на место. Той же Нориной иглой... Приближается военный. Тоже майор, как папа. Может, он знает? Проходит... — Кто ищет доктора Маркельскиса? Нора вздрагивает, услышав свою фамилию. Ее, кажется, произнесла та самая седая старушка в пенсне! — Я... Старушка не расслышала — стало еще шумнее: все повторяют фамилию. У окна, в том углу, совсем рядом, у двери. Будто ищут сразу много Маркельскисов. Нора даже боится, что сейчас кто-нибудь опередит ее, скажет, что это он ищет. И она повторяет громче: — Я! Даже сама не почувствовала, что дернула старушку за руку. Та оборачивается. — Извините... — Нора застыдилась, что держит ее. — Это я ищу доктора Маркельскиса. Он мой папа. Старушка так удивляется, что морщинки словно перепрыгивают на лоб и ложатся там пятью нотными линиями. — Это я ищу доктора Маркельскиса, — повторяет Нора. — Он мой папа. Старушка, кажется, хочет перекреститься. Но не решается. Или не может поднять руку. — Вы знаете моего папу? Старушка наклоняет голову, и Норе на миг мерещится, что это ее бабушка. Такой же пробор в седых волосах, и тоже по-детски розовая кожа под ними. — Боюсь,

что мы с вами ошиблись, милая девушка. — Старушка опять подняла на нее свое пенсне. И пытается улыбнуться. Будто извиняясь за надежду. — Почему? — Нора испугалась, что она сейчас уйдет. — Вы же читали мое объявление. Это я его повесила! — Верю вам, верю. Но... Видите ли... Видите ли... — повторяет она. И опять молчит. А Нора так хочет, чтобы она говорила. Если бы не стеснялась, даже попросила бы. Старушка, наверно, почувствовала это. Вздохнула: — К сожалению, у того человека, с которым я знакома... дочь... Нору... немцы... — Это я Нора! Я! — прерывает она — Меня прятали. В деревне. Теперь я вернулась, ищу папу! — Нора захлебывается от волнения. Не знает, что еще сказать, чтобы ей поверили. — Я маму тоже ищу! И бабушку! Худенькая рука наконец поднимается ко лбу. Дрожа, опускается. Приподнимается к левому плечу, к правому... Но глаза за пенсне смотрят на Нору все так же испуганно. — Меня прятали. — Нора не знает, как ее убедить. — Я живая! Наконец старушка растерянно улыбнулась. Только в глазах заблестели маленькие капельки. — Где он? — не выдерживает Нора. — Здесь... Недалеко. — Можно, я пойду к нему? — Конечно, можно... — Губы старушки это шепчут, но думает она о чем-то своем. — Мы вместе пойдем... — Спасибо! Теперь уже проталкиваться не надо. Люди сами расступаются, дают дорогу. Кто-то вздыхает: "Счастливая женщина, нашла свою дочь!" — "Видно, не ее это дочь, даже не расцеловались". — "Какая разница — расцеловались, не расцеловались, — важно, что нашлась". Это о ней. Это она "нашлась". Норе не терпится. Она бы шла быстрее, даже побежала бы. Но старается не опережать свою спутницу, чтобы та не задыхалась. — Я сюда хожу часто. — Среди уличного шума старушкин голос кажется совсем тихим. — Нет, сама никого не жду, — отвечает она, хотя Нора ничего не спросила. — Сына убили на фронте. Еще в тридцать девятом, у Гданьска. Муж умер. Сестра с семьей в Польше... Норе жаль ее. Даже неловко, что у самой так гулко бьется сердце и так не терпится скорее к папе. — Мне уже встречать некого... — повторяет старушка. — Но сюда хожу. Может, кому-нибудь смогу помочь. И радуюсь, что хоть другие находят своих. Чужая радость — все равно радость... Сколько было горя, сколько слез. Нельзя больше... Дедок тоже так говорил... — Человеку нужны улыбки. А в старости особенно. Нора кивает. Конечно! Но сама бы не сумела так сказать. Может быть, сыграла бы... — Вы не виделись с отцом три года. Оба изменились... Но это неважно, — прерывает она себя. — Главное, что оба живы. — Конечно! Норе кажется, что и кругом все радуется. В окнах сверкают отблески солнца. Будто нарочно, чтобы слепить ее, заставить жмуриться, улыбаться. Она идет к папе! "К па-пе!" — просигналила машина. Как хорошо, что дядя Ян ей сказал про эти объявления! И что туда пришла эта добрая старушка. Теперь она ведет ее к папе! Нора крепче прижимает к себе завернутый в тряпочку хлеб с салом. — Вам нельзя сразу показаться отцу. — Старушка тоже волнуется. Даже голос дрожит. — Он ведь не знает, что вы... живы... — Подумает — я привидение? — спрашивает Нора. — Теперь в привидения не верят, — то ли с сожалением, то ли с одобрением говорит старушка. — Но подготовить его к такой встрече надо. Сперва я найду сама, потом позову вас. — Хорошо... — Хотя ждать Норе совсем не хочется. Старушка молчит, и Нора не решается спросить, далеко ли еще идти. — Да... — Будто не Норе, а самой себе говорит она. — Трудно человеку жить одному. Очень трудно. Особенно, если у него уже была семья... Норе опять становится жаль ее. Она хочет пообещать, что будет приходить. Но худые старушкины пальцы дотрагиваются до нее. — Здесь... — Она останавливается у кирпичного дома на углу. Дом совсем чужой. С магазином. Только окна магазина закрыты железными ставнями. И на двери решетка. — С правой ноги надо, с правой, — шепчет старушка. И сосредоточенно переступает порог подъезда. Лестница очень широкая. Но поднимаются они медленно. Старушка все оборачивается, будто хочет Норе что-то сказать. А может, это только кажется... Наконец они останавливаются у коричневой двери. Еле слышным шепотом-даже сердце у Норы бьется громче — старушка говорит: — Станьте в самый угол. Чтобы вас не увидели, когда откроют. Нора так прижимается к стене, будто хочет вдавиться в нее. Старушка поднимает дрожащую руку с красной ниткой на запястье к звонку. Зашлепали шаги. — Это пани Броня, моя приятельница. Ее дом разбомбили. — Кто там? — спрашивают из-за двери. — Это я, пани Броня. — Старушка очень старается, чтобы голос казался спокойным. Ее впускают. Дверь опять закрыта. Большая, обитая дерматином. Над ручкой дыра, круглая. Это от вынутаго французского замка. Нора осторожно, на цыпочках подходит и заглядывает в нее. Передняя. Вешалка. Какие-то пальто. Шинель! Это папина!.. Нора уставилась, будто ждет, что шинель сейчас зашевелится, обернется... А за какой из этих дверей он сам? Что-то стукнуло. Нора

отскакивает от двери и снова прижимается к стене. — Где она?! Папин голос! А ведь не помнила... Лицо, руки помнила, а голоса... Дверь открыта. Стоит. Это папа. "Мой папа", — твердит она себе, глядя на костыли. — Норенька! — Он заковылял к ней. Она бросилась к нему. Ткнулась в его щеку. Он! Так всегда пахла его кожа! А руки крепко обхватили ее и дрожат. — Норенька, дочуля!.. — Он ее никогда так не называл, и Норе хочется плакать. Она кусает губы, чтобы сдержаться. И не шевелится. Хотя костыль больно вдавился в плечо. — До свиданья, пан доктор, — раздается за его спиной дрожащий голос. — Куда вы, Ядвига Стефановна? — Отец поворачивается и отпускает Нору. Только рука на плече. Будто он боится, чтобы Нора тоже не ушла. — Куда вы? Побудьте с нами. Как странно просительно он говорит. Но это он, папа. — И я говорю, посидела бы. Только теперь Нора замечает вторую старушку. Наверно, она и есть пани Броня. — Не могу, пан доктор. Извините. — И протягивает свою худую руку. Отец целует ее. — Спасибо вам, Ядвига Стефановна. Большое спасибо. — Ничего, пожалуйста, до свиданья, — смущенно говорит она все подряд. Повернувшись к Норе, поспешно бормочет: — Пусть ничто не омрачает... — и торопливо выходит. — Спасибо! — кричит Нора вдогонку. — Большое спасибо! Ядвига Стефановна уже спустилась по лестнице... И пани Броня в передней нет. Здесь она и папа. Ее папа! На костылях... — Что же мы стоим? — спохватывается он. — Идем в комнату. Он неуклюже поворачивается. Сперва выступают костыли. Потом к ним переносится нога. Она одна. И брючина одна. Вторая наверху приколота булавками. Тапка тоже одна. Нора даже не сразу понимает, что она правая... Хочется зажмуриться, не видеть! Но глаза открыты. И смотрят, как нога, словно боясь отстать от костылей, спешит перепрыгнуть к ним. Комната совсем непохожа на их столовую. Стол другой. И буфет дома был меньше. Тахты не было. А здесь стоит даже детская кроватка, доверху напиханная подушками и одеялами. Санитарные носилки зачем-то прислонены к стене. — Садись... Сюда, здесь мягче, — показывает он на тахту. Но ей неловко садиться на чужую тахту, и она опускается на краешек стула. Зря. Папа сел на тахту. Если бы она была рядом, он опять положил бы руку ей на плечо. Хотя раньше, дома, не умел "показывать чувства". И над мамой подтрунивал, что она с Норой нежничает, как с маленькой... Очень жаль, что в передней, когда они стояли обнявшись, Ядвига Стефановна так быстро окликнула его. Теперь он сидит напротив. Смотрит на нее и улыбается растеряннно-счастливый. Он тот же. Папа. Ее папа. Но костыли... — Садись сюда. Она быстро пересаживается на тахту. Его лицо... Только темнее стало или, может, осунулось? И мешки под глазами. Такие были у дедушки. Но папа же еще совсем не старый. Хотя уже немножко седой... — Как же ты... — И голос раньше не дрожал. — Как ты спаслась? Она хочет рассказать ему все, все. Как было страшно, когда не впускали, как она лежала в лесу, как бежала мимо тех трех повешенных. Но говорит совсем другое: — Меня прятали. А маму с бабушкой... Отец прижимает ее к себе. — Мама меня тогда спрятала в ванной. Потом, когда к нам должен был вселиться немецкий офицер, я ушла. Была у разных людей... — Она умолкает. Так рассказывала чужим. А ему... Он тоже молчит. — Я очень надеялся, что вас спасут... А когда вернулся... говорят — никого... Нельзя было. — Немцы устраивали облавы. — Мы это знали. Но я все равно не мог поверить. Когда освободили город, я еще лежал в госпитале, после ампутации. Написал вам... Потом писал маме на работу, тебе в школу. Каждый день отправлял письма. К твоей подруге Юдите... — Ее нет... — Знаю. Теперь я это уже знаю... А тогда ждал. Каждое утро. Почему-то казалось, что письмо принесут именно утром. К приходу почты брился. А в тумбочке лежал НЗ... Нора не знает, что такое НЗ, но не хочет его прерывать. ...чтобы угостить товарищей по палате, когда получу от вас письмо. — Он умолкает. — Угостить не пришлось... Ответ получил от маминой сотрудницы. — Он теребит бахромку скатерти. — И если бы не... — отец осекается. И очень странно, даже почти испуганно смотрит на Нору. Она хочет погладить его руку, успокоить, но стесняется. — А меня сперва прятал мельник. Потом я лежала в лесу, в яме. Зато у Петронеле и у Стрелисов было тепло... Он сжимает пальцы в кулак. Они, как и раньше, длинные, красивые. Мама говорила, что они как у прирожденного пианиста. А он шутил: "И хирургу такие не помешают". — И ты все это вынесла! — Иначе немцы бы расстреляли... — Да, да, понимаю. Но теперь это уже прошло. Мы тебя вылечим, откормим. — Меня лечить не надо! Я здорова. Он еле заметно улыбнулся. Наверно, вспомнил, как очень давно, когда Нора была маленькая, мама должна была первой попробовать Норины лекарства — не горькие ли. Только потом уж она... И то морщилась, хныкала... А папе ведь ногу! — Тебе было очень больно, когда... — и Нора показывает на его ногу. — Было. И не только больно... — Теперь больше не болит? — Нет.

Только хирургом я уже не могу... Стоять надо. — Будешь детским врачом! Меня ведь лечил. Он опять старается улыбнуться. — Спасибо. Пока работаю терапевтом. А когда сделают протез, попытаюсь... Нора хочет ему сказать, что он опять будет таким, как раньше, и она тоже... Но молчит. Смотрит на его руки. На папины руки... Нашего дома нет. Даже не узнать... — А я узнала кусок стены из моей комнаты. С синими цветочками. — Ты их помнишь? — Конечно. Я и трещину на тротуаре узнала. — Какую трещину? — Извилистую. Как Немунас на карте. И парикмахерская напротив осталась. — Знаю. Это жена парикмахера мне говорила, что вас... всех. Сама видела, как ночью... погнали... — Она, наверно, видела маму с бабушкой. И подумала, что я тоже с ними... Он молчит. Только пальцы дрожат. Нора хочет положить на них руку. Сказать: "Папа". Чтобы он поднял голову, посмотрел на нее. Она о чем-нибудь спросит, будет с ним говорить. Чтобы часто повторять это слово — "папа". И сама будет слышать, как произносит его. Совсем как раньше, дома. Послышался резкий звонок. Отец почему-то растерялся. Она вскочила. Может, нехорошо, что они сидят в чужой комнате, а теперь пришли хозяева. — Сиди, сиди... — Он хочет еще что-то сказать. — Видишь ли... — Может, мне открыть? — Нет-нет, я сам... — Он поспешно разворачивается на костылях и с деревянным постукиванием выходит. — Мы колбасы принесли! — врывается звонкий детский голосок. — По мясным талонам давали. Шестьсот граммов колбасы за кило мяса, — рассказывает грудной, женский. — А у нас... — говорит папа. — Кто?! — В дверях появляется женщина. Высокая, в плаще. По голосу Нора думала — она ниже и полная... — Люба, — улыбается ей папа, — это Нора... Вернулась... Женщина смотрит на нее, будто не веря. — Пряталась... И вот... Она подходит. Обнимает ладонями Норину голову и целует в глаза. Улыбается. — Дети, поздоровайтесь! — Она быстро отворачивается к ним. Норе кажется — потому, что в глазах заблестели слезы. — Здравствуйте, тетя. — К Норе подходит маленькая девочка. А сзади стоит мальчик. Он старше. Почти такой, как Винцукас... — Здравствуйте, — говорит он совсем другим, чем Винцукаса, голосом. — Добрый день, — отвечает им Нора. Все молчат. Смотрят на нее. Наконец хозяйка поворачивается к папе. — Совсем такая, как ты рассказывал. "Ты"! У Норы внутри екнуло. — Но она же очень худая! — сокрушается папа. — Ничего, поправится! Главное, что жива! Все удивляются, что она жива... А ведь правда — жива! Норе опять стало весело. — Что ж, — улыбается хозяйка, — давайте на радостях ужинать. С колбасой и настоящим чаем! Сейчас поставлю. — Да-да, надо ужинать, — засуетился отец. Достал из буфета буханку хлеба. Даже не начатую! Поставил на стол сахарницу. Дома была другая, с серебряным ободочком. В этой лежит пачка сахарина. — Мы это выменяли на табак. — Отец, видно, заметил, что она удивилась. — Был день рождения... Даже очень голодная, когда представляла себе всякую еду — хлеб, котлеты, огурцы, — она про сахар ни разу не вспомнила. А оно было. Все время было: и когда она лежала в лесной яме, и когда, убежав от облавы, влетела в какую-то рощицу и всю ночь простояла, обняв ствол дерева, чтобы слиться с ним — может, так не заметят... Замерзла до боли в пальцах, в спине. А потом и сама одеревенела, будто срослась с этим деревом. Даже казалось, что на ней такая же кора... Лишь изредка она осторожно, словно втайне даже от самой себя, проверяла — действительно ли она тут стоит и еще живая... — Жаль, масла нет. Нора радостно вздрогнула, услышав папин голос. — Зачем? Не нужно! — Тебе жиры необходимы. Ты должна поправиться. Норе странно, даже чуть-чуть смешно, что он говорит совсем как мама. А ведь раньше подшучивал, когда мама это говорила... И на стол никогда не накрывал. Выходил из кабинета, когда все уже стояло. — Алик, Тата, идите руки мыть! — кричит из-за двери их мама. Они выбегают. Но Тата сразу возвращается. — Мама сказала — всем надо мыть руки. — Да-да, сейчас. В ванной пол скользкий, и Нора боится, чтобы костыли у него не выскользнули, пока он моет руки. Она напряженно смотрит, чтобы успеть подхватить его, если... За столом их уже ждут. Хозяйка первому наливает чай папе. Как дома. А он этого, кажется, не замечает. Придвигает Норе хлеб, сахарницу. — Ешь. И колбасу бери. Нора уже так давно не пила из стакана! Кажется, слишком звонко стучит ложечкой. И вилку держать отвыкла. Она какая-то неудобная, тяжелая. — И мы хотим колбасы! — заявляет Алик. — Да-да, сейчас. — Папа спешит им нарезать. — У меня тоже есть хлеб! — Нора выбегает в переднюю, приносит заработанный сегодня хлеб. И кусочек сала. И луковицу. — Угощайтесь. — Она сама удивилась, что вспомнила это слово. — Чай стынет. — Хозяйка дотрагивается до папиной руки. — Ты же любишь горячий. — Да-да, сейчас. Нора опускает глаза. И все равно видит их руки. Папа своей не отнимает... Но это ее папа! Вот он ей кладет еще ломтик хлеба. — А мы

видели немцев! — сообщает Тата. — И они совсем не такие страшные! — Это они теперь не страшные, — по-взрослому объясняет ей брат, — потому что в плену. — А колбасу им дают? — Нет. — Откуда ты знаешь? — Знаю. — Ничего ты не знаешь. Папа, им дают колбасу? "Папа". Нора сильно сжимает вилку. И губы. Бойтся моргнуть. Она смотрит в стакан. Там отражается люстра. Как это она сразу не догадалась! Ведь здесь всего одна комната. И тахта одна. Широкая... Ядвига Стефановна пыталась: "Трудно человеку жить одному..." Потом, прощаясь: "Пусть ничто не омрачает..." — Дети, вы поели? — хрипло говорит отец. — Идите во двор поиграть. — Хочу еще чаю, — заявляет Алик. Норе кажется — нарочно, чтобы не уходить. — Я тоже хочу чаю! — подражает ему Тата. Мать им наливает прямо в блюдца, чтобы скорее остыл. Нора тоже не хочет, чтобы они ушли. Но чай в блюдах убывает. Уже остался только влажный блеск на доньшках. Алик все равно еще тянет губами и косится на Татино блюдце — может, хоть там есть? — Все, все, — торопит их мать. — Спасибо. Можно встать из-за стола? — скороговоркой спрашивает Тата, слезая со стула. — Можно. — Спасибо, — бормочет и Алик. — Пошли, Татка. — Не шалите, — предупреждает их мать. Хлопает входная дверь. Звук давно замер, а они тут все еще прислушиваются к нему. — Ты знаешь, как меня зовут? — почему-то спрашивает она. Может быть, хочет, чтобы ее называли нашей фамилией? Нора молчит. — Любой, тетей Любой, Любовью Яковлевной — как сама захочешь... — Я вас искал... — напоминает отец. — Писал. Объявление повесил, расспрашивал. Потом Януйтене, жена парикмахера... — Да, ты говорил... Но он все равно повторяет: — Она сказала, что сама видела, как вас... ночью... всех... — Меня мама спрятала. — Да-да... — Видно, поняла, куда ведут, — вздыхает она. А Норе не хочется, чтобы она говорила про маму. — Ты пережила так много, — тихо говорит отец. — Меня впустил дядя Ян! — перебивает его Нора. — Это в том доме, где жила Юдита. Там в мансарде комнатка. Больше она не знает, что сказать. Наконец заговаривает она: — Человек, как бы молод ни был... — она умолкает, глядя в свой даже неотпитый чай, — должен стараться понимать... даже то, что сначала может показаться... Зачем она это говорит? — Видишь ли, Норенька, — говорит папа, — мы... не только ради себя... Хотя... Когда я лежал после ампутации... Если бы не тетя Люба... А вас я не нашел... Алику и Тате нужен был... — Они ничего не знают, — подхватывает тетя Люба. — Своего отца не помнят, он ушел на войну давно, еще на финскую. И сразу погиб... Алику тогда было неполных три года, а Тате — один месяц... Норе стало жаль ее. Она хочет сказать, что понимает. Но выговорить это не может. — Я им ничего не говорила. У всех отцы на фронте, все ждут, пусть и они... А когда мы решили... словом, я им тогда сказала, что вернулась с фронта их отец. Она умолкает. Папа тоже молчит. Они, кажется, ждут, чтобы Нора что-нибудь сказала. — Надо будет им объяснить, — так и не дождавшись, устало говорит тетя Люба, — почему ты его тоже называешь отцом. "Но он же и есть мой отец!" — хотела крикнуть Нора. А вслух сказала: — Хорошо. — Насчет фамилии им раньше объяснили... — голос отца дрожит. — Сказали, что в эвакуации у матери не было с собой документов, поэтому их записали на ее фамилию. — Твой отец их усыновил. Пусть они больше ничего не говорят... Нора вздрогнула. Снова резкий звонок. Тетя Люба, кажется, тоже довольна, что их прервали. Пospешила открыть. — Татка упала, — сообщает Алик. — Я говорил, чтобы не лезла, а она... Тетя Люба бежит вниз. И отец спешит за ней. Костыли стучат по лестнице. Алик заглядывает в комнату. — Она очень ушиблась? — спрашивает Нора. — Нет. Только ревет, чтобы мама ее подняла. Нора смотрит на него. На уши, волосы, глаза. Этот мальчик теперь папин сын... — А почему папа сказал, что вы прятались? Опять резануло это "папа". — Чтобы фашисты не расстреляли. Он так широко раскрывает глаза, что они становятся круглыми. — А где вы прятались? — Везде. — Но ему, кажется, такого ответа мало. И Нора поясняет: — В сараях, на чердаках. Иногда в лесу. — Одна? Нора кивает. — Ночью тоже одна? — Да. Нахмутив лоб, Алик спрашивает очень деловому: — Там не очень страшно одному? — Очень... — А партизан вы видели? — Нет. Он разочарован. — Они были далеко. А я не знала где... — И Нора вспоминает, как Петронеле, когда Нора уходила, закликала не искать их: говорят, переодетые немцы тоже прикидываются партизанами. Потом расстреливают. Если уж кто-нибудь точно скажет, тогда... Алик, кажется, не знает, о чем еще спросить. Но уходить явно не хочет. — А Татка все еще ревет. — Может, больно ушиблась. — Нет. Только она маленькая еще, поэтому плачет. — А ты никогда не плачешь? — Нет. Я буду как мой папа. Он герой! — А... — Как мой настоящий папа! — вдруг выпаливает он. И спохватившись, что проговорился, снова, теперь уже от испуга, округляет глаза. — Но вы этого никому не говорите, хорошо? — просит он. — Хорошо... — И все-таки



Нора заставляет себя спросить: — А почему ты... так думаешь? Алик угрюмо молчит. — Я же никому не скажу... Он колеблется. И она повторяет: — Я, честное слово, никому не скажу. — Честное красноармейское? — Да. Он неохотно бормочет: — Этот папа не наш настоящий... Наверно, надо ему сказать то же самое, что говорят они. Но она только спрашивает: — Почему... ты так думаешь? — Мне одна тетя во дворе сказала. Наш папа погиб на фронте, когда мы еще были совсем маленькими. А этот — мамин муж. — Он хороший... — говорит Нора. Алик молчит. И Нора опять удивляется, что этот чужой мальчик с короткой челкой и торчащими ушами теперь будет называться ее братом. — Все равно он не мой настоящий папа. "А мой настоящий!" Только вслух она этого не сказала. Наконец послышался стук костылей. Тетя Люба вносит Тату на руках. Отец идет следом. Норе кажется — он теперь другой. Не такой, как вначале, когда их не было. — Алик, принеси, пожалуйста, тазик с водой. А тетя Люба успокаивает Тату: — Сейчас перестанет болеть. Приложим холодную тряпочку. — Я пойду... — тихо говорит Нора. — Куда? — Отец даже испугался. Тетя Люба тоже очень удивилась. — Домой... — А разве ты... не останешься с нами? — Я пойду... — повторяет Нора еще тише. Отец совсем растерян: — Почему? Ты же вернулась... Мы будем вместе... Все... — Алика положим с нами, на тахту, — спешит ее уверить тетя Люба. — А тебе постелим на носилках. — Нет, нет! — Болит... Ножка болит... — хнычет Тата. — Сейчас, сейчас. — Отец виновато взглядывает на Нору и наклоняется к Татиной ноге. Но он же все равно ее, Норин, папа! По-докторски ловко обмывает он Тате колено. — Надо помазать йодом. — Не хочу йодом! — взвизгивает Тата и снова начинает плакать. — Хорошо-хорошо, не будем, — сразу соглашается тетя Люба. Отец ей ничего не говорит. А маме сказал бы, что нечего потакать детским капризам, и обязательно помазал бы йодом. Тетя Люба отжимает тряпочку, прикладывает к колену. Меняет. Опять прикладывает холодную. — Я пойду... — напоминает Нора. Когда они стоят отвернувшись, ей легче это говорить. — Скоро комендантский час. Отец крепко сжимает костыль. Даже пальцы побелели. И смотрит на нее недоуменно-просяще. — Я завтра опять приду! — спешит Нора уверить. Он опускает голову. — Скоро комендантский час, — убеждает она его и себя. И все-таки медлит. — Но как же... — Я завтра приду! Утром. Тетя Люба выпрямляется. — Ты не думай, что я... что мы не хотим, чтобы ты была с нами... Наконец она идет по улице. К себе. В ту комнатку наверху, откуда утром вышла мыть окна. Это было сегодня. Все еще тот самый день... Тетя Люба сказала: "Не думай, что я... что мы не хотим..." Нора и не думает. Сама же сказала: "Я пойду". А как она могла остаться? Им все время было бы неловко. "Я вас искал... Мне сказали, что всех..." И тетя Люба бы объясняла. А Нора ведь понимает. Только вначале не догадалась. Теперь она понимает! Понимает! Норе от этого хочется плакать, но она все равно объясняет себе. Отцу было трудно одному, без мамы... Ее словно ударяет. Она даже останавливается. Кажется, только теперь, когда на мамином месте есть другая женщина, Нора поняла, что мамы нет совсем... Не будет... Нора спохватилась, что стоит. Прохожие ее обгоняют. Она снова начала переставлять ноги... Не могла она остаться. И сама сказала: "Я пойду". Отец молчал. Нора хотела его попросить, чтобы он не смотрел на нее так, будто он виноват. Лучше сказал бы что-нибудь. Но вместо него опять заговорила тетя Люба: "Что ж, ты уже взрослая, поступай как хочешь..." Это она взрослая? И хочет?.. Она же не может остаться! А все-таки стало жаль, что ее больше не уговаривают... И что папа теперь не такой, как раньше, когда обязательно надо было его слушаться. Он лишь повторял: "Нас же осталось только двое". А Нора его убеждала: "Я завтра приду". Тетя Люба положила на ее хлеб все три оставшихся ломтика колбасы. "Приходи к нам завтра обедать. И вообще приходи. Каждый день. Отец тебя очень любит". Нора очень старалась не расплакаться. И боялась посмотреть на папу... "Может, тебе чего-нибудь нужно? — спросил он опять задрожавшим голосом. — Деньги у тебя есть?" "Нет..." Отец заковылял к буфету. Нора слышала, как скрипнула дверца. "Отдай все", — сказала тетя Люба. Можно будет купить яичек... "Может, еще чего-нибудь надо? У тебя же ничего нет". Нора вспомнила про письмо Алдоне. "Конверт! Если можно, конверт с маркой". Отец ей дал три конверта. Из толстой серой бумаги. Совсем не такие, какие были до войны. И марки незнакомые. Теперь она их несет домой. Вместе со своим хлебом, колбасой, луковицей и деньгами. Дядя Ян стоит в подворотне. Значит, скоро комендантский час, и он вышел запереть ворота. — Мы уже думали, не придешь. Может, лучшую комнату нашла. — Что вы! Я и не искала. — Тогда бери ключ. Я там запер, чтобы последнее не унесли. — Спасибо! Большое вам спасибо! Теперь у нее есть ключ... — Дядя Ян, я нашла папу! Он

удивлен. — Правда, правда, нашла! Только... можно, я буду жить здесь, у вас? — Испугавшись, что он начнет расспрашивать почему, она быстро говорит: — Спокойной ночи! — и вбегает во двор. По лестнице тоже поднимается торопливо, хотя и старается ступать неслышно. Отпирает дверь. Своим ключом. И входит в свою комнату.

## Глава VI

Норе кажется, что она здесь сидит уже давно. И хорошо знает эту комнату. Шкаф, окно, оба письменных стола с одинаковыми чернильницами. Только в одной чернила с утонувшей мухой давно высохли, а в другую их, наверно, налили недавно. Перестук обеих машинок, сперва казавшийся очень громким, теперь почти привычен. И папка, которую дал товарищ Астраускас, тоже кажется давней знакомой. Она здесь работает. Работает. Нора все утро повторяет это слово. Она работает! Вместе с этими машинистками и товарищем Астраускасом. Он ушел, а Норе велел складывать в папку корешки хлебных карточек, которые ей будут приносить. Потому что она не только курьер, но и уполномоченная по хлебным карточкам. Вчера это непонятное слово ее испугало. Когда начальник отдела кадров сказал: "Ладненько, возьмем вас в АХО курьером и уполномоченным по хлебным карточкам", — Нора оробела: она не знает, что такое АХО и что должен делать уполномоченный. Ноне призналась, чтобы начальник не велел уйти. И сегодня утром, когда шла сюда, очень волновалась: только бы не заметили, что она не поняла. Никто не заметил. Правда, что такое АХО, она сама поняла. Когда товарищ Астраускас привел ее из отдела кадров сюда, она успела прочесть на двери табличку: "Административно-хозяйственный отдел". И догадалась. А что она должна будет делать, товарищ Астраускас сам объяснил. Оказывается, только название такое непривычное, а работа очень обыкновенная. Сегодня, например, она должна складывать в папку корешки хлебных карточек. Жаль только, что их не несут. Всего два человека, и то потому, что зашли к машинисткам, оставили ей. Теперь она уже знает и что такое корешок. Просто широкая полоска бумаги под карточкой. Каждый должен отрезать корешок, вписать туда свою фамилию, имя, год рождения, адрес и заверить в домоуправлении. Когда все принесут ей эти корешки, она по ним получит карточки на следующий месяц. Для всех. И у всех, кто здесь работает, целый месяц будет хлеб, крупа, соль! И это она, Нора, им принесет карточки! И сама будет иметь карточку. Получать по ней хлеб. Свой собственный. Каждый день. Нора забеспокоилась: почему больше никто не приносит? Скоро вернется товарищ Астраускас и будет недоволен, что в папке всего два корешка. Он и так был не очень доволен, что ее сюда приняли. Когда начальник отдела кадров сказал ему: "Познакомьтесь, это ваш курьер и уполномоченный по хлебным карточкам", — он улыбнулся, будто шутке. "Не лучше ли тебе, девонька, сидеть за школьной партой?" Она не ответила. Только очень боялась, чтобы и начальник не передумал. Но товарищ Астраускас сразу перестал улыбаться. Покачал головой и совсем серьезно сказал: "Ну что ж, пошли, будем работать". И, как взрослую, пропустил вперед. Здесь, когда знакомил с машинистками, назвал ее "товарищ Маркельските". Стал объяснять, что она должна будет делать. Правда, очень удивился, что она не знает, какая разница между "рабочей" карточкой, "служашей" и "иждивенческой". Даже спросил: "Откуда же вы приехали?" Нора ответила, что из деревни. Хотела сразу добавить, что она не вообще из деревни, а только теперь. Но товарищ Астраускас начал терпеливо, будто она и правда ничего не понимает, разяснять про карточки, про нормы. Потом дал папку, в которую она должна складывать корешки, и ушел. Нора хотела про деревню объяснить машинисткам, но они работают. Иногда перекинутся между собой несколькими словами. И еще с теми, кто им приносит работу. Они же все друг с другом знакомы. Она старается запомнить, как кого зовут. Та, которая первая принесла корешок, — Лаукайте. Это секретарша. А другая, в очках, — Ванагене. Высокий седой мужчина — Рагенас. Когда он вошел, Нора подумала — может, артист. Вместо галстука — бабочка. И такая же шелковая "фантазия" торчит из кармашка. Только потом заметила на локте маленькую штопку... Он поздоровался не только с машинистками. Ей тоже улыбнулся. Спросил, почему его не представляют "нашей новой сотруднице". А узнав, что Нора уполномоченная по хлебным

карточкам, опять улыбнулся: "Значит, наша кормилица". Машинисток она, конечно, тоже знает. Молодую зовут Марите. Она красивая, и волосы вьются. Только брови подрисованы черным карандашом. А пальцы длинные, красивые. Ей, наверно, легко брать любые аккорды. Вторая, пожилая, которая печатает на русской машинке, — Людмила Афанасьевна. Она худая и очень смуглая, будто навек загоревшая. На лацкане темно-синего пиджачка большая красная звезда. Орден. Как у военных. Жаль только, что она курит... Печатают они по-разному, будто различная у них постановка рук. Марите их держит над самой клавиатурой. И не ударяет по буквам, а только надавливает беглым прикосновением. Как будто разминает перед игрой пальцы. Но каретка движется быстро, отвозя влево заполняющиеся строчки. Марите плавным движением возвращает ее назад, одновременно переводя напечатанное чуть выше и сразу начинает выстраивать новую строчку. Тем же легким касанием рук. У Людмилы Афанасьевны, наоборот, пальцы словно прыгают по ступенчатым рядам букв. Ударяют и отскакивают. Ключи и подлетают. Кисти еле поспевают кивать друг другу. Иногда даже кажется, что они изображают двух раненых птиц, которые растопырили крылья и силятся взлететь. Взметнутся вверх и падают. Взмахнут и сразу валятся. Но если не смотреть, а только слушать этот перестук, может показаться, что Марите и Людмила Афанасьевна соревнуются в выстукивании чего-то. И каждая старается попасть в паузу другой. Но паузы эти секундные, даже еще меньше, и стук не могут догнать, то перегоняют друг друга. Нора спохватывается, что в папке все еще те самые два корешка. А она ведь должна работать! Может, надо самой попросить? Она мысленно встает, подходит к машинисткам. Они достают из сумок свои корешки... И Нора на самом деле встает. — Можно вас попросить?.. — О чем? — не переставая печатать, спрашивает Марите. — Корешки ваших карточек. — Завтра принесу. Людмила Афанасьевна тоже продолжает работать. — Ведь есть еще три дня. Нора возвращается к своему стулу. Опять сидит. Но она же должна работать! Снова подходит к машинисткам. — Дайте мне, пожалуйста, какую-нибудь работу. Марите поднимает удивленные глаза. Оказывается, на их красивых голубых зрачках по коричневой точке. Будто веснушки. — Нечего делать? Так радуйся! "Ра-дуй-ся! Ра-дуй-ся!" — выстукивает и ее машинка. Это Марите ритмично забивает иксами немецкое название какого-то департамента. А сверху быстро выстраивает новую строчку — название их управления. Но немецкое все равно выступает. — Можно, я буду зачеркивать чернилами? — Не стоит, уже последние. Завтра привезут новые бланки, свои. Нора все равно стоит. Когда просишь, надо ждать. Даже если сперва отказывают... Людмила Афанасьевна тоже поднимает голову. — Еще набегаешься. Отдыхай пока. — Мне не надо отдыхать, я хочу работать... Чтобы не велели уйти. — Господи, кто тебя так напугал? Нора не успевает ответить, Марите опережает: — Не твоя вина, что нет работы. Читай книжку. Книжку?! Это же было раньше, дома... Нора вспомнила, как хорошо было идти из библиотеки с нечитанной еще книжкой. Ждать вечера, когда, сделав уроки и поиграв, можно будет лечь в постель и читать. Мама сердилась, что она портит глаза, и Нора забиралась с ночником под одеяло. Но это ж было тогда, дома! — Я должна работать, — повторяет она. Марите пожимает плечами. — Делай что-нибудь свое. А ей нечего делать! Тетя Люба, правда, велела записать, где и у кого она пряталась. Пока еще свежо в памяти. Список. Хоть коротко: дата, место пребывания и фамилия хозяина, который ее прятал. Дата... Неужели тетя Люба не понимает, что тогда Нора совсем не думала об этом? И не знает, какое число было в ту первую ночь, когда она вышла из города. Шла... На дороге послышался рев машин. Она побежала. А гул приближался. Сейчас гитлеровцы ее заметят, достигнут. Она помчалась к чему-то чернеющему невдалеке. Юркнула в темноту. Наткнулась на лестницу — и подлезла под нее. Машины проехали мимо. Но вылезти все равно было страшно. Темно. Каждый куст издали кажется немцем... А утром ее нашел мельник. Не выгнал. Даже закидал укрытие досками, только узкий лаз оставил. И тот заслонил трехпудовым мешком. По вечерам, когда все засыпали, выпускал Нору немного походить в тени мельницы, размяться. Еду приносил. И каждый раз, впуская обратно в укрытие, шепотом напоминал: если найдут, пусть скажет, что сама сюда забралась. Но когда повесили тех троих... И Нору внезапно поразило: тогда, той ночью, на календаре стояло обыкновенное число! Только она не знала какое. Не думала. В страхе пробежала мимо них, покачивающихся на ветру с завязанными назад руками. И у каждого на груди надпись: "Я помогал..." А в лесу? Сколько дней она там лежала в яме — сперва скользкой от дождей, потом твердой и заиндевевшей от заморозков? И в какую ночь ей вдруг показалось, что она онемела? Ведь давно не разговаривала, не слышала своего голоса! В испуге Нора стала очень тихо — только чтобы

самой слышать — произносить слова. Разные. Просто чтобы их вспомнить. Как что называется, как выглядит. И если бы Петронеле тогда не упала к ней в яму... Неужели Петронеле — Нора даже опешила от такой мысли, — неужели Петронеле только "фамилия хозяина, который ее прятал"?! А в какую графу этого списка вписать, как Петронеле вела ее из леса? Нора от долгого лежания совсем не могла стоять. И переставлять свои очень тяжелые и непослушные ноги разучилась. Петронеле опустилась на корточки и стала их растирать, "чтобы кровь разошлась". А растерев, уговаривала: "Теперь остороженько дойдем до той большой ели". Там опять растирала их, "чтобы до тех двух сосен дошли". И потом, дома, лечила ее своими травками, настойками. Тоже объясняя: "чтобы жар через поры вышел" и "чтобы кашель ночью не душил". Еще "от боли в суставах" и "для крепости в ногах". А по вечерам, перед сном, Петронеле становилась перед распятием на колени и долго упрашивала Иисуса, чтобы Нора не умерла. Нора лежала на печи и слушала, как Петронеле шепчет богу о ней. Но если бы в это время ворвались гитлеровцы? Или полицаи? И нашли бы Нору... А ведь Петронеле знала, что ее за это... И все равно привела из леса, прятала. Нет, нельзя из этого составить список! Нора вздрогнула — неужели она это сказала вслух? Видно, нет — Марите и Людмила Афанасьевна печатают. А сама она сидит с папкой на коленях. И сразу вспомнила: она здесь работает! Работает! Вместе со всеми. И теперь каждое утро будет сюда приходиться. Работать. Слушать, как говорят о фронте. Людмила Афанасьевна сегодня рассказала, что армия, в которой она воевала, уже пересекла румыно-болгарскую границу! Как это хорошо! Нора еле удержалась, чтобы не сказать вслух — хорошо! Что скоро кончится война, что она осталась жива, что она здесь, все видит, слышит этот перестук машинок! Хорошо! Марите ушла последней — она живет рядом. Нора осталась одна. Пока одна. Скоро все вернутся. Они пошли домой только переодеться к субботнику. Нора будет работать в этом же, тети Любином платье. Потому что старое, в котором приехала, тетя Люба велела при людях больше никогда не надевать. И отдала свое, еще совсем хорошее — ничуть не линялое и без единой заплаты. Показала, как подкоротить, а из отрезанной полоски посоветовала сшить кушачок. Жаль только, что она думает, будто Нора неблагодарна. И отец расстроен. Но ведь поблагодарила — и когда тетя Люба сказала, что даст ей это платье, и позавчера, когда дала. А вчера Нора просто пришла к ним сказать, что ее приняли на работу. Еще хотела спросить, что такое АХО и что должен делать уполномоченный. Но не успела: как только тетя Люба увидела, что она в этом платье, — обрадовалась. Будто так уж важно, как оно на Норе сидит, как ей идет. Заставила поворачиваться то лицом, то спиной. Призывала и папу любоваться. Он, конечно, был доволен. Даже Тата радовалась. Тетя Люба еще послала ее к пани Броне, посмотреть на себя в большое зеркало. Когда Нора, постучавшись, открыла дверь, она увидела в трюмо напротив, как в комнату входит высокая и очень худая девушка. Приблизилась к ней — той, в зеркале — и удивленно смотрела на непривычную долговязость, короткий ежик волос, худую шею. На взрослое, тети Любино платье. Только ссадины на ногах были те же. И носок ботинка с той самой черной заплатой. И руки — Нора пошевелила перед зеркалом пальцами — ее. Обмороженные, синеватые даже летом. У пани Брони сидела Ядвига Стефановна. Как она обрадовалась Норину платью! Начала советовать сузить его в талии, сделать более открытым. "Конечно, ведь шея молодая, без морщин", — поддержала пани Броня. А Норе было очень странно это слушать. Ядвига Стефановна осталась совсем одна, у пани Брони разбомбили дом, а говорят про наряды... Отец, видно, нарочно поджидал ее в передней. Шепнул: "Поблагодари за платье". Но она же благодарилась! Как всегда, всех. И тех, которые ее впускали — даже если ненадолго, только погреться. И тех, кто хотя бы выносил кусок хлеба. Сейчас тоже понимает, что тетя Люба отдала свое платье, которое еще сама могла носить. Но почему надо говорить особенные слова или даже, как маму, поцеловать? Папу она могла бы, даже хотела бы поцеловать. Но он же никогда не любил "показывать чувства". А тетю Любу... И Нора только повторила: "Большое спасибо". Отец, кажется, остался недоволен. Тетя Люба тоже... Может, даже хорошо, что она сегодня не пойдет к ним. Субботник, говорят, кончится поздно. Каждый должен отработать на восстановлении города девяносто часов, поэтому, пока еще не очень рано темнеет, работают почти до самого комендантского часа. Вдруг Нора спохватывается, что она стоит и ничего не делает. А ведь сама просила, пока их нет, дать ей какую-нибудь работу. И товарищ Астраускас велел перенести из этого шкафа в большой коридорный "все бумажное наследие бывшего немецкого департамента". Марите пожала плечами: "Немецкий-то немецкий, только на весь департамент один и был немец — шеф. Да и тот "фольксдойче". Хотя выглядеть

старался настоящим. Даже усики под своего кумира отпустил". Нора опешила: неужели Марите была тут все время? Когда Нора боялась, чтобы не нашли, не расстреляли — Марите просто печатала на машинке... "А чуть что грозил выслать в Германию". "Вас?!" — Нора не заметила, как это вырвалось у нее. "А что я за барыня?" Конечно... Норе стало стыдно за свои мысли. И она поспешила исправиться: "Как хорошо, что не вывезли!" "Да, неплохо". "Вас прятали?" Марите мотнула головой. "А как же..." Нора умолкла. Не спрашивать же так, как ее спрашивают, — как вы остались живы? "За деньги". Нора опять удивилась. И Марите объяснила, хмыкнув: "Добрые дяди удостоверение продали". Норе было стыдно, что она не понимает. Но все-таки спросила: "Какое удостоверение?" "Липовое, конечно. Что работаю на фабрике". "Разве отсюда не брали?" "Официально — нет. А так..." — она махнула рукой. "А меня прятали без денег! Еще и кормили. А одна, Стасе, даже свое платье отдала". Людмила Афанасьевна почему-то удивилась: "Разве ты все время была здесь, не в эвакуации?" "Здесь. Но меня прятали..." "Кто?" "Разные люди. В деревне..." — И Нора стала рассказывать. О Петронеле, Стрелисах. Об Алдоне и старом дедке. Они слушали, расспрашивали. И совсем не заметили, что кончился рабочий день. Спихнулись, когда из отдела кадров пришли спросить, почему не несут машинки — опечатать надо. Быстро убрали столы и поспешили домой переодеться к субботнику. А Нора осталась переносить из шкафа бумаги. Он и правда переполнен. На верхних полках выстроены ровные ряды одинаковых скоросшивателей с большими черными номерами на корешках. Средние полки заполнены таким же аккуратным строем папок. Тоже нумерованных. Только в самом низу бумаги навалены как попало, россыпью. Будто их сюда запихивали в спешке и суете. Нора начинает с этой, нижней полки. Достает по одной бумажке. Распрямляет ее, отгибает углы и складывает в стопку. Берет, выравнивает, кладет. Инструкция. На немецком языке. Письмо. Тоже на немецком. Копия счета за машинку "Ремингтон". Это та, на которой печатает Марите? А в школе, кажется, была "Континенталь". Удостоверение. "Настоящим удостоверяется... бухгалтер Жемгулис сдал... медных изделий 3,23 кг". А Нора не знала, что оккупанты и это забирали. Еще одно такое же удостоверение. "Пакштас... сдал 7,05 кг". Список сотрудников. Нора встрепелась — три фамилии вычеркнуты. Скабейкис... Ракаускайте... Гедвилас... Что с ними сделали? Три линии синими чернилами. Перечеркнуты фамилии. Скабейкис. Ракаускайте. Гедвилас. Их забрали? Может, за то, что кого-нибудь прятали?.. Нора осторожно опускает листок. В руках другой. Разделенный пополам. Слева немецкий текст, справа — литовский. "Свидетельство". Нора смотрит на него. Читает. Опять сначала... "Свидетельствую... после тщательной проверки... что мои родители, бабушка и дедушка не еврейского происхождения. Знаю... за ошибочные сведения могу быть уволен... или против меня может быть возбуждено... уголовное дело". "Свидетельствую... после тщательной проверки..." — еще раз те же слова, только о жене. Даже будущей жене. Будущем муже. И та же мера наказания... Готовый бланк. На двух языках. Только сверху оставлены пустые строчки для фамилии и места работы. А внизу дата. Тоже вписана от руки. 10 июля 1942 года. И подпись. Рагенас. Рагенас?! Тот самый, который выглядит как артист?! Он же улыбался!.. Нора опять смотрит на "свидетельство". Рагенас. Она хватает сложенные бумаги. Сейчас сунет их в шкаф и убежит. Пока он не вернулся. Внизу стукнула дверь. Он?! Поднимается сюда. Сейчас войдет... Марите! — Здравствуйте! — крикнула Нора. — Добрый вечер. Но мы уже, кажется, виделись. Нора хочет объяснить, сказать, но Марите опередила: — Я тебе халат принесла. — Большое спасибо! Сейчас она Марите покажет "свидетельство". Пусть тоже знает. Марите переобувается. Силится втиснуть ногу в старый мальчишечий ботинок. Второй стоит рядом. — Смотрите... — Нора протягивает листок. — Что это? — Марите поднимает голову. — А... — И снова нагибается к ботинку. — Прочтите, пожалуйста. — Да знаю я эти... Почему Марите так спокойна? — Но он же... как немец! — Ого, какая ты строгая! — наконец нога влезла. — Прямо прокурор. — Я не строгая. Но если он подписал, значит, заодно... — А по-моему, это значит только то, что он спасался. И семью спасал. Жену, невестку, внука. Сын пропал в первый же день войны. Вышел из дому и — нет... Даже неизвестно, чья пуля угодила. — Но почему он семью спасал т а к? — Если бы отказался подписать, фашисты решили бы — есть что скрывать. А дальше — сама знаешь. Срежь ночи стук прикладами в дверь. Девять километров до леса... Назад бандюги возвращаются одни. И диски в автоматах пусты... Нора молчит. Об этом она не подумала... А все-таки это "свидетельство"... Марите обула и вторую ногу. Распрямляется. — А кому хуже оттого, что он подписал? Нора не знает, что ответить. — Не он один подписал. Все, кому

велели, подмахнули. Но это вовсе не значит, что все они были согласны с этим бредом. И все-таки он теперь кажется Норе не таким, как утром, когда улыбался: "Значит, вы наша кормилица". Марите достает из сумки халат. — Переоденься. Платья для такой работы жалко. Небось единственное. — Да... Большое спасибо. — И не смотри на всех, кому было не так плохо, как тебе, волком. — Я и не смотрю... Нора хотела работать рядом с Марите. Но по дороге сюда девушка в клетчатом плаще их нагнала, взяла Марите под руку и увела вперед. Грузить носилки тоже осталась в паре с нею. А Нора работает с какой-то незнакомой и, кажется, даже недовольной Нориным соседством женщиной. Еще хорошо, что Марите недалеко. Нора слышит ее голос. Видит, как руки Марите в серых перчатках кладут на носилки обломки бывших стен. А может, потолков, лестниц. Теперь не узнать, что чем было... Теперь все это — обломки, которые надо грузить на носилки. Норе не терпится грузить быстрее — чтобы уменьшились груды этих кирпичей, железак. Надо, чтобы на других улицах тоже скорее убрали. Ведь людей в городе много. Если каждый, проходя мимо развалин, унесет с собой хоть по одному кирпичику... — Дайте я вам помогу. — Нора заметила, что соседка силится поднять большую глыбу. Вместе поднимают, взваливают на носилки. И снова грузят молча. Прошел Рагенас. Он все время проходит мимо. Когда с полными носилками идет вниз, к машинам, и когда порожином возвращается назад. Нора старается видеть его. И повернуться так, чтобы он не был у нее за спиной. "...Он только спасался..." Даже здесь он одет иначе, чем все. Брюки-галифе, высокие клетчатые гольфы. Теперь он выглядит не как артист, а как пожилой барин, который собрался погарцевать верхом на лошади. Еще бы только хлыстик в руки. Но хлыстика нет. Есть носилки. И он, крепко вцепившись, будто впрягшись в передние ручки, носит вместе со своим, тоже седым, напарником эти глыбы все еще скрепленных цементом кирпичей. "...Он только спасался. И спасал свою семью..." Улыбается. Тем двум женщинам, возле которых ставит носилки. И не дает им нагружать. Сам нагибается. Джентльмен. Но ведь немцы со своими женщинами тоже были вежливы. "...А кому хуже оттого, что он подписал?" Наверно, никому... И все-таки он подписал. Внезапно Нору обжигает мысль: а если бы она тогда постучалась к нему?.. Она смотрит на его обтянутые гольфами мускулистые ноги. На галифе, прямую осанку. И никак не может представить его в низкой деревенской избе, куда она бы постучалась... "Не смотри на всех, кому было не так плохо, как тебе, волком". Она и не смотрит. А на Рагенаса вообще не будет смотреть. И думать о нем больше не будет. Нора распрямляется. — Устала? — кричит Марите. — Нет! — Нора быстро нагибается, взваливает на носилки большую глыбину. Еще одну. — Хватит, куда вы! Ничего, что Марите не рядом. Нора ее видит. И голос слышит. А соседка пусть себе молчит. Она ведь не только с Норой — ни с кем не разговаривает. И работает так, будто у нее тут есть свои обломки, которые она и должна переложить на носилки. Остальное ее не касается. И пусть. А все-таки если бы вместо нее тут работала Алдона... Они бы, конечно, разговаривали. Алдона бы что-нибудь рассказывала. Может, о Тадасе. Какой он до прихода гитлеровцев был хороший, спокойный. И обязательно вспомнила бы, как он приезжал свататься. "Он мне так понравился, что я начала бояться — не женится. Я всегда так: если чего-нибудь очень хочу, пугаюсь — не исполнится. Иногда даже себе не признаюсь, что хочу. Чтобы не вспугнуть..." Но Алдоны нет. Есть только эта женщина с тонкими губами и выражением недовольства на лице. Опять прошел Рагенас... А его напарник похож на старика Стролиса. Такая же белая голова. Нора вспомнила гробы. Четыре больших и один маленький... Она силится вспомнить Стролисов живыми. Представить себе, как Винцукас сбегает с крыльца. Как Стасе идет с подойником в хлев. Даже зажмуривается, чтобы это увидеть. Но гробы во дворе все равно стоят. И Стасе по дороге в хлев их обходит. Даже Винцукас пробегает мимо своего... — Стасе! Нора вздрагивает, открывает глаза. Она здесь, на субботнике. — Стасе, ты что, не слышишь? Это Марите зовет ее напарницу. Она тоже Стасе? — Слышу... — откликается та неохотно. Марите подходит к ним. — Ты, кажется, хотела купить белый шелк. — Продаешь? — Не я, тип один. Но у него на две кофточка, и не хочет, черт, резать. Давай пополам. — А что за шелк? — все такая же недовольная допытывается Норина напарница. — Парашютный, из трофеев. — Говорят, он сыпучий. — Как знаешь. — И Марите поворачивается. — Мне... можно этот шелк? — неожиданно выпаливает Нора. — Отчего ж нет, были бы деньги, — бросает Маритена ходу. Если бы Нора знала, что Марите все равно отойдет... И тетя Люба будет недовольна. Говорила, в первую очередь нужно пальто. А как объяснить? Очень уговаривали, и неудобно было отказаться? Велели всем ходить на работу в белых кофточках? Но ведь не школа, чтобы всем в одинаковом, как в

форме. "Лучшая ложь — это правда". Это говорила бабушка, когда чувствовала, что Нора собирается "сочинять". В памяти стало медленно всплывать что-то очень хорошее. Давнее. ... Нора хотела надеть новую форму, которую накануне принесла от портнихи. А бабушка говорила, что обнову положено надевать на Новый год. Но так не терпелось показаться в новой форме! И она надела. Девочки, конечно, сразу заметили. И самой нравилось — плиссе новое, упругое. Когда, садясь, приподнимала его, оно так и оставалось вздыбленным. Как кринолин. Но на последней перемене, когда она мчалась по лестнице вниз, на повороте вдруг зацепилась, и... Как она тогда плакала! Корила себя, зачем надела, зачем бежала по лестнице. Могла остаться в классе. Форма была бы по-прежнему новой. И так хотелось, чтобы опять была та же перемена! Она бы никуда не побежала, даже в коридор не вышла бы. И форма осталась бы целой. Девочки весь урок присылали записки: "Скажи, что мальчишка толкнул", "Не твоя вина — в парте был гвоздь", "Хочешь, скажи, что я тоже порвала", "Жалуйся! Упала и ушибла руку. Очень болит. Мама начнет прикладывать компресс (а ты стони!), и ей некогда будет ругать". А когда Нора пришла домой и бабушка увидела этот свисающий плиссированный клок, сразу предупредила: "Лучшая ложь — это правда". Потом зашивала. Долго, старательно. Норе опять, как тогда, стало жаль форму. Где она теперь? Наверно, под такими же руинами. Только на их улице, там, где лежит обломок знакомой стены с синими цветочками. Форма где-то внизу, совсем изодранная, похожая на тряпку... А пианино? Его, наверно, и совсем раздавило. Найти бы хоть одну клавишу. Хоть костяшку. Белую. Она положила бы ее на этажерку... Нора ударилась рукой о какую-то блестящую палку. Попробовала вытащить. Хоть расшатать. Но не могла даже сдвинуть с места. А рядом, оказывается, вторая такая же. Они что-то напоминают... Ножки никелированной кровати. Нора начинает разгребать все вокруг, откатывать в сторону. — Помогите мне, пожалуйста. Соседка берется за вторую ножку. Вытащили. Это спинка. То есть изголовье никелированной кровати. Нора счищает с нее каменную пыль. — А где человек, который на ней спал? Норе казалось, что она об этом только подумала. Но, видно, сказала вслух. Соседка вздыхает: — Кто может знать... Нора держит этот погнутый, поцарапанный, но все еще блестящий остаток кровати. Раньше эта кровать стояла в комнате. У стены. Наверно, висел коврик. И тот, кто спал на ней, каждое утро и каждый вечер, или когда болел, видел его — знакомый, всегда одинаковый. Может, на нем был изображен замок, луна, трубадур. Вдруг Нора обмерла. Стрекот... Стреляют?! Бежать! — Хоть бы предупредили. Это голос ее соседки. Она здесь. Никто не бежит. — Так плохо одетых — и для кино... — ворчит она. Кино?! Правда. На соседнем пригорке стоит человек с большой, как огромный фотоаппарат, камерой. Это она стрекочет! Камера! Конечно же, ведь у автомата и звук совсем другой. Нору трясет. Она хочет рассмеяться, заплакать — что-нибудь! Но только дрожит. Трясутся плечи, руки. Она не может их унять. Ухватить эти щербатые кирпичины и положить на носилки. Она же здесь, на субботнике! — Товарищи, не смотрите в объектив. Продолжайте, пожалуйста, работать! — кричит в жестяной рупор женщина в гимнастерке. А юбка почему-то штатская, серая. И правда — никто не работает. Кто шел с носилками — стоят. Кто грузил — распрямились. И все смотрят туда, где камера. — Товарищи! — умоляет женщина в рупор. — Мы же снимаем ваш трудовой процесс. Работайте, пожалуйста, как раньше. С энтузиазмом, с огоньком. Послушались. Опять двинулись носильщики. Нагнулись и те, кто грузил. Камера снова застрекотала. А к Норе вернулась дрожь. Мелкая, в унисон с этим стрекотанием. — Не обращайтесь внимания на съемки, не смотрите в объектив, — размеренно, будто учительница диктовку, повторяет женщина в рупор. Она, видно, поворачивается во все стороны. То ее голос звучит рядом, то ветер уносит его влево. Опять возвращает. И все равно теперь работают иначе. Носильщики просят грузить побольше. И норовят пройти мимо камеры. Да еще будто ненароком повернуть к ней лицо. Подтрунивают друг над другом — кто лучше всех выйдет, получит приглашение в Голливуд. Даже Норина соседка, недовольная этой "пустой возней", незаметно засунула под косынку клок волос, торчавший жесткой метелкой. И тоже старается, будто для того, чтобы сподручней было, поворачиваться в ту сторону, откуда стрекотня. Даже почти улыбается! А Марите? Нора приподнимает голову, но женщина с рупором машет ей, и Нора снова нагибается. Только успела заметить, что теперь Марите без косынки и даже распустила волосы. А руки не в перчатках. Нора приглаживает свой ежик волос. Чтобы не топорщился.

Нора еще не совсем поняла, что просыпается, когда вспомнила: сегодня воскресенье. Сразу стало жалко — она не пойдет на работу и целый день будет скучно. Она уговаривала себя еще не пробуждаться, спать. Чтобы день потом не тянулся так долго. Но спать совсем не хотелось. Значит, день будет длинным, как и прошлое воскресенье, Она конечно, пойдет к отцу. Погуляет с Татой. Будет у них обедать. Но все равно до следующего утра еще останется много времени. Вдруг она вспомнила: сегодня должна им рассказать об Алике, о том, что он знает о своем отце. Что хочет убежать. Сон совсем исчез. Будто и не спала она вовсе, а так лежит со вчерашнего вечера и думает. Надо им рассказать. Нора уже давно собирается сказать. Но не знает — как. И кому — отцу или тете Любе. Вчера решила посоветоваться с Марите. После работы пошла проводить и все рассказала. Но Марите только усмехнулась: "Напрасные страхи. Никуда он не денется". "А если?" "На первой же незнакомой улице испугается. И вся храбрость вытечет слезами. А какая-нибудь сердобольная тетенька приведет его домой еще до того, как мать хватится, что он исчез". У Марите все так просто, рассудительно. Будто ничего плохого не может случиться, нечего тревожиться. А Норе, наоборот, все время кажется, что должно случиться что-то плохое. И она повторила: "А все-таки надо их предупредить". "Предупредят. Без тебя найдется кто-нибудь другой..." Нору будто ударило. Внутри, у самого сердца. Она даже приостановилась. "Ты что?" — удивилась Марите. Нора не могла ответить. Казалось, все еще звучит: "Кто-нибудь другой..." "Обиделась?" — спросила Марите. "Нет. Но..." Она не могла объяснить. Марите тоже не спрашивала. Шли молча. Неожиданно — Нора даже сама удивилась, услышав свои слова, — заговорила. ...Это было еще в первую зиму. Ночью... Она так закоченела, что уже еле передвигалась. Но с вечера ее в одну усадьбу не пустили даже погреться, еще пригрозили немцами, и она боялась куда-нибудь постучаться. А холод совсем сковал. Казалось, сейчас она упадет и замерзнет. Утром ее найдут мертвой, запорошенной снегом... И она стала сама себе твердить, что надо постучаться. Обязательно! Сейчас, пока еще не упала. Но мимо ближайшего дома прошла, не завернув, — большой, в таком, наверно, живет староста. И второй миновала — очень зло заливалась собака. Два соседних стояли наглухо заколоченные. Наконец доплелась до крайнего домика, у самого леса. Постучалась. Открыла женщина. А в сенях было так тепло... Но вышел мужчина и не разрешил впустить ее. Всего и было тепла, пока стояла на пороге. А тот мужчина, задвигая за нею засов — Нора долго не уходила, может, передумает? — бормотал, недовольный: "Мы что, единственные? Пусть другие пускают, кто подальше от дороги". А пока она искала этих "других", чуть не замерзла. И еле спряталась от пьяного полиция — он орал, что видел человека... Не только в ту ночь она слышала или чувствовала это "пусть другие". Люди не оправдывались, что боятся. Даже сочувствовали. Но... пусть другие. Нора и тогда не понимала, и теперь, рассказывая Марите, не может понять — неужели этим людям и правда казалось, что другим легче, не так опасно? Однажды, у Стролисов, когда Стасе предложила ей перейти с чердака в погреб — там теплее, — Нора сказала, что это опаснее для них. Если ее найдут на чердаке, она будет говорить, что сама туда забралась, а если в погребе... Но Стасе не дослушала, взяла тулуп, мисочку и повела вниз... Тогда Нора и рассказала про это "пусть другие". Стасе пожалла плечами. А ее отец, дедушка Стролис, почему-то рассердился: "Если еще успокоить себя, что ничего плохого оттого, что ты не помог, не случится — кто-нибудь другой наверняка поможет, — то и вовсе можно себя считать хорошим человеком". Марите молчала. Наконец она сказала тусклым, будто чужим голосом: "Но это совсем другое — что было тогда и что теперь". Нора кивнула. Конечно. А все равно нельзя так: знать, что надо что-то сделать, и не сделать этого. Марите не ответила. Молчала. Только не так, как Молчат, когда согласны. "Я должна их предупредить", — повторила Нора. "Предупреждай. Только не обижайся, если тебе скажут, что это ты сама ему и проболталась. Из ревности". Нора опешила: "Что вы?! Папа не подумает! И... тетя Люба тоже". Марите молчала. "Больше никому их предупредить. Никто же не знает, что он хочет убежать". "Сомневаюсь. Дети не умеют хранить тайны. Особенно те, которые их волнуют". Марите остановилась. Они подошли к ее дому. Протянула Норе руку. "А все-таки не встрывай ты в их дела. Пусть живут как понимают. И выбрось это из головы. Не



убежит он". А Норе кажется — убежит! Будет один в лесу... Она скажет. Завтра обязательно скажет! Теперь это завтра уже наступило... Она старается представить себе. Входит. Здоровается. Отец подает газеты: "Еще два города освободили!" Конечно, с чуть заметной грустью: без него это. Или даже с завистью: "Мои уже у Вислы..." А Нора первым делом смотрит на напечатанные жирным шрифтом названия городов — какие освобождены. Потом уже читает всю сводку. Прочла. Села рядом. Теперь должна сказать. А как? Начинает с начала. Мама тоже так учила — если на рояле не получается какое-нибудь трудное место, даже один пассаж, надо начинать с самого начала. И повторять, повторять, пока не получится. Но то было на рояле. И по написанным нотам. Не надо было самой придумывать. Она закрывает глаза. Силится представить себе. Входит. Здоровается. Отец подает газету. Она читает сводку. Садится. А дальше?.. Входит... Читает газету... Нора открывает глаза. Она всегда так делает: если думает о чем-нибудь с закрытыми глазами и хочет перестать, быстро их открывает. И уже думает о том, что видит. Еще очень рано. Солнце только у края комода. Если даже на работу, и то должна была бы встать, когда солнце доберется до середины листка и разделит его, как костюм паяца, на светлую и темную половины. А сегодня надо ждать, пока оно ляжет на весь комод. Это будет еще не скоро... Может, считать? До трех тысяч шестисот. Будет час. Нет. Это там, в укрытиях, она так "толкала время". Теперь не надо. Она вернулась в город. Здесь папа. И не надо больше бояться, что убьют! Нора очень любит повторять это. Особенно, когда лежит на кушетке. Скаты крыши здесь низко, над самой головой, и вдруг начинает казаться — она на чердаке! Могут найти! Все ей говорят, чтобы не думала так много о том, что было. Это прошло, больше не будет. Теперь надо жить настоящим, тем, что сегодня, сейчас. Но что делать, если само вспоминается. Даже не вспоминается, а будто еще есть — страх, укрытия. И это ее, Норино. А все теперешнее — чужое, непривычное. И еще ей иногда кажется, что эта комната, папа, работа — не совсем. Только пока. А потом... Что будет потом — она не знает. Но хочет себе представить. И все видится опять таким, как было. Прежние комнаты, пианино. Мама, бабушка. Но от таких мечтаний становится очень грустно. Не будет этого... Мамы с бабушкой нет. Вместо дома — развалины. И город совсем другой. Так, как было, уже не будет. И все это знают. Живут по-новому. Нора тоже... Утром идет на работу. Составляет ведомости на хлебные карточки, разносит бумаги. После работы идет к отцу. А все равно помнит. Высокие фуражки... Автоматы... Облавы... Но этого же нет! И больше нечего бояться! Она это знает. А все-таки спохватывается, что, поднимаясь по лестнице, старается ступать неслышно. И довольна, если никто не видел, как она вошла в подъезд. Бояться не надо. Она здесь, в своей комнате. На этажерке портфель, который ей дали "для служебного пользования". Марите пошутила: видно, Нору готовят в начальники — эти казенные портфели выдали только начальникам отделов и ей. Но товарищ Астраускас объяснил, что ей портфель положен как курьеру. Вчера она помогла принести из банка деньги. Полный портфель, для всех. Сама тоже получила. Две большие купюры по десять червонцев, одну поменьше — пять червонцев, и одну еще меньше — три. Двести восемьдесят рублей. У нее никогда не было столько денег. Мама давала мелочь — на завтрак, кино. Такие, бумажные деньги были только у взрослых. Нора тихо, чтобы не заскрипели пружины, повернулась на бок. Солнце добралось почти до середины комода. А небо там, за окном, очень блеклое. Будто за лето вылиняло. Или ранние осенние дожди смыли с него все краски, а теперь оно расстелено, как загрунтованный художником серый холст, и ждет, чтобы на него наложили новые краски — то ли светлых облаков золотой осени, то ли хмурых туч, нагруженных долгими дождями. Нора смотрит на небо. Давно не видела его. Здесь, в городе, кажется, ни разу не подняла к нему голову. А ведь даже в укрытиях, хоть в щель, смотрела. На узкую полоску неба, куски облаков, на деревья. Придумывала, на что похожи их ветви. Если торчит одна голая сосновая ветвь, то это протянутая рука. Две, друг против друга ветки молодой березы — руки дирижера. Только неумелого — ветер все время сбивает его с такта. А мерно покачивающаяся вершина сосны — это метелка, которая сметает с поднебесья пыль. Там, в деревне, вообще казалось, что мир очень, очень большой. Столько в нем долин, полей, лугов. Столько лесов, перелесков, озер. Здесь, в городе, Нора совсем забыла об этом: о полях, солнце, деревьях. И о траве — настоящей, густой. Тут все каменное: улицы, дома. Руины. Даже пыль — каменная... И еще толкучка! Нора вдруг вспомнила удивившее ее вчера слово. Это Марите сказала, что пойдет сегодня на толкучку покупать белую кофту. С парашютным шелком ничего не вышло: тот тип продал кому-то другому. Нора тоже пойдет туда! Встретит там Марите... Она вскочила. Быстро натянула платье. Сжевала оставленный с

вечера кусок хлеба. Взяла в комодке свои деньги и выбежала. На лестнице пусто. Стали бить башенные часы на площади. Каждые две ступеньки — удар. Пробыло восемь. Теперь Нора и сама удивляется, что она купила эту щетку. И тетя Люба недовольна: — Зачем она тебе? Ведь еще чистить нечего. Нора это понимает. Но так получилось. — Ничего, — примирительно говорит отец. — Щетка тоже нужна. — Будет нужна, — поправляет его тетя Люба. И не удерживается, вздыхает: — Хоть бы купила что-нибудь другое... — Другое было очень дорого. Тетя Люба выходит из комнаты. Она всегда выходит, когда раздосадована и не хочет этого показать. Нора начала было объяснять отцу, что не собиралась ничего покупать, пошла только поискать Марите, но замолчала. Она и сама не понимает почему. Ведь правда, не думала ничего покупать. И когда пришла на эту самую толкучку — не думала. Только удивилась, что тут очень много людей. Ее толкали, обходили, будто она всем мешает. А она, привстав на цыпочки, высматривала Марите. Но видела одни головы. Простоволосые и в платках. Они двигались, перемещались, но никуда не уходили. Казалось, даже наоборот — потому и не стоят на месте, что норовят быть в самой гуще. Знакомой головы Марите не было видно. Нора решила посмотреть, кто продает кофточки — может, так легче найдет. И опять удивилась: сколько продают разных юбок, платьев, пиджаков. Не новые, как в магазине, с красивыми бирками, а ношенные. Некоторые совсем старые. Только тщательно выглаженные, даже приукрашенные. Из кармана лоснящегося пиджака торчит белоснежный платочек — "фантазия". А к зеленому платью совсем некстати пришит красный бант. Каждый хвалит свой товар. Если все это слушать, получится настоящая ода старью. "В такой юбке и на бал не стыдно пойти". ("А мне не на бал, на работу", — это уже ответ.) "Девушка, шелк на это платье мне из Парижа привезли". Высокая, в серьгах, женщина держала фрак. Но никто не обращал на него внимания. И фрак очень грустно свисал с рук своей хозяйки. Его, некогда нарядный, надеваемой для выхода на сцену, под свет прожекторов, теперь вынесли в эту шумную толкотню. И казалось, он нарочно сутулится, чтобы его не купили чужие люди, чтобы не унесли в чужой дом. Уж лучше висеть в шкафу на своем привычном месте, даже ненужным, забытым. А что хозяйке нужно на полученные за него деньги купить хлеб — откуда фраку это знать. Нора выбралась из толпы. Вдоль всего рыночного забора, прямо на земле, на подстилках, был очень непривычный товар — кучки ржавых гвоздей, старые дверные петли. Иголки для примусов. Даже клубки веревок. Возвышался голый, без абажура, остов настольной лампы. Парами лежали резиновые набойки. Рубчатые, видно из покрышек велосипедных колес. Еще дверные ручки, связки старых ключей. Бисеринки. Они лежали маленькими разноцветными щепотками на клочках бумаги. Опять гвозди — тоже старые и ржавые, но старик выравнивал каждый молотком. Никто их не покупал. Однако стояли и смотрели, как он их старательно выпрямляет. Нора снова вернулась в середину толпы, где, казалось, стало еще теснее. Вертелась в этом движущемся человеческом лабиринте, даже забыла, зачем сюда пришла. Глазела, как примеряют юбки, кофты. Рассматривают на свет — придирчиво, долго. С недовольным видом спрашивают цену. Уходят. Снова возвращаются. Опять разглядывают. Норе тоже хотелось бы примерить или хотя бы потрогать какое-нибудь платье, кофту. Но ведь сразу станут уговаривать, чтобы купила. Она и цену спрашивать стеснялась. Ждала, когда спросит кто-нибудь рядом. Но все было так дорого... И собственных червонцев, которых утром казалось так много, теперь не хватило бы ни на что. Нора опять выбралась из толпы. Пошла посмотреть на бисеринки. Когда еще была маленькая, очень любила нанизывать их на нитки. Неожиданно рыжеусый дяденька с деревяшкой вместо левой ноги (Нора даже вздрогнула: неужели и у папы будет такая?..) протянул ей щетку: "Бери, доченька, всего пять червонцев прошу". Щетка совсем такая, как та, что дома лежала в передней на полочке. Только эта темная. "Бери, доченька..." Он, кажется, удивился, когда Нора развернула свои сложенные в квадратик деньги и достала пять червонцев. "Дай тебе бог счастья", — сказал дяденька, пряча ее деньги между культей и деревяшкой. И сразу же забыл о ней. Опять стал выкрикивать: "Берите гвозди. Бабоньки, кому гвозди? После Гитлера надо отстраиваться. Вернутся с фронта мужики, спасибо скажут, что заготовили. Покупайте гвозди. Пока еще война — недорого прошу!" Нору потянуло уйти отсюда — от этого шума, толкотни. Марите все равно нет. На улице опять посмотрела на щетку. Она уже не казалась похожей на ту, что лежала в передней. Эта черная, стертая. Она чужая... И тетя Люба недовольна. Вышла из комнаты, чтобы не сделать замечания. Нора однажды слышала, как она сказала папе: "Я не могу ей делать замечания, она обидится. А ты отец". Нора вдруг вспомнила: она ведь должна предупредить об Алике! Уже теперь, сейчас.

Пока не вернулась тетя Люба, надо папе сказать, что Алик знает правду о своем отце. Собирается убежать. Норе даже кажется, что она уже говорит это. Но в комнате тихо. — Алик знает... Отец сидит задумавшись и, кажется, не расслышал. Она повторяет громче: — Алик знает... — Что-что? — Он знает... — Нора смотрит на пол и на стоптанный, как набойка, кончик костыля. — Что ты... что его отец погиб на фронте... Папа молчит. Тоже устался в пол. — Одна женщина, во дворе, ему сказала. — А мы думали — так будет лучше... — Конечно, лучше! — Ей очень страшно, что отец такой бледный. И в руках — его красивых руках с длинными пальцами — ни кровинки. Нора погладила бы эту, правую, которая поближе. Но только повторяет: — Конечно, лучше. Но Алик этого не понимает и хочет убежать. Отец не шевельнулся. Может, не расслышал. Нора хочет повторить, но он, не поднимая головы, спрашивает: — Алик тебе это сказал? — Да. То есть... что он убежит на фронт. Что хочет быть, как его... — и она не закончила. Отец молчит. — Хочешь, я поговорю с ним? — вдруг предлагает Нора. Отец удивлен: — О чем? Нора пожимает плечами. Может, о том, что тетя Люба ей тоже не мама. Но сказать это вслух, отцу она не может... — Если уж говорить с ним, то надо бы мне самому... Объяснить. Хотя он вряд ли все поймет. — И, глядя на свою единственную ногу, с тихой горечью добавляет: — Дети очень категоричны. "Я не категорична!" — хотела сказать Нора. Но промолчала. Она всегда молчит, когда отец говорит с ней об этом — очень смущаясь, начинает объяснять, как искал их, как надеялся... Но соседка сказала, что сама видела... А если бы не тетя Люба... Особенно после ампутации... Каждый раз, когда он начинает так говорить, Нора хочет попросить: не надо! Она ведь понимает. Но сегодня он, кажется, и сам не будет продолжать. И она тихо просит: — Не говори, пожалуйста, Алику, что это я тебе сказала. — Наверно, вообще не буду говорить об этом. — Почему? — Так будет лучше... Пусть все остается по-прежнему. — Отец, кажется, сам прислушивается к своим словам — правильные ли. Немного подумав, добавляет совсем так, как говорил раньше, дома: — Нет, не буду. Пусть хотя бы подрастет для такого разговора. — Но если... — Нора все же решается напомнить: — Если он убежит? — Не думаю. — Он же говорил... — Говорить он мастер. — Отец, кажется, доволен, что Алик говорун. — И фантазия у него богатая. Но только пока он дома. А убежать, думаю, не решится. — Помолчав, объясняет: — Он очень напуган. Когда эвакуировались, их эшелон разбомбили. И он потерялся. Только на второй день тетя Люба нашла его, с вывихнутой ручкой, совсем обессиленного от плача. Он это, видно, помнит. И по ночам иногда кричит. Норе кажется, что отец говорит совсем о другом Алике — маленьком, заплаканном. А этот, который теперь играет во дворе... — Ты тете Любе ничего не говори, — просит отец. — Я бы и тебе не сказала. Но боялась... — Пусть все остается по-прежнему... Тетя Люба тоже удивилась, что Нора так быстро уходит. Даже спросила — не заболела ли. Нет, она здорова. Но почему уходит — объяснить не могла. За обедом было больно смотреть, как отец украдкой поглядывает на Алика. Норе казалось — то с жалостью, что Алику не по детским силам знать свою тайну, то, наоборот, будто сам пугался, когда Алик начинал говорить. Словно ждал недоброго. Нет, не осталось по-прежнему... И все потому, что она рассказала. Но ведь боялась, что Алик убежит! И не ждала, что предупредит кто-нибудь другой. А выходит — только расстроила отца. Но предупредить же надо! В деревне всегда так делали, если узнавали, что будет облава. Нора брела по улице. Смотрела на встречных прохожих. Откуда они, все другие люди, знают, как правильно поступить? Отец с тетей Любой знают, что лучше Алику правду не говорить. Ядвига Стефановна знала, что папу надо подготовить к их встрече. И ее готовила — объясняла, что человеку трудно жить одному... А самой — чтобы радоваться хоть чужой радостью — надо ходить туда, к объявлениям. Нора чуть не споткнулась, пораженная: забыла! Совсем, ни разу не вспомнила о тех листках, бабочками приколотых к стене. Там же висит ее объявление! Может, кто-нибудь прочел и написал под ее строчками, что знает... Она побежала туда. Она маму не забыла! Очень ждет, чтобы вернулась. И не потому туда не ходила, что нашла папу. Она маму ждет, ищет! И бабушку тоже! Стало перед ними совестно. Жалко их. Нора хотела, чтобы мама видела, знала, как без нее плохо, как Нора хочет, чтобы мама вернулась! От угла уже бежала. Сердце билось гулко, нетерпеливо. Тоже рвалось туда. Добежала уже запыхавшись и рывком открыла дверь. Все так же, как тогда. Очень много людей. Будто те самые все еще здесь. Расспрашивают друг друга... Она стала проталкиваться в левый угол, к своему объявлению. Висит. Тот же листок из бухгалтерской книги. С теми же тремя фамилиями. Но оттого, что давно его не видела, он кажется чуть другим, непривычным. Нора нарочно рассматривает его, чтобы еще не

признаться самой себе — под фамилиями ничего не написано. Никто не знает, где ее мама. Мама Ида, как Нора ее иногда называла... Здесь только строчка. Ида Маркельскене. Это мамина фамилия... Норе кажется, что буквы погрузтели — жаль им Нору. Они просительно смотрят со стены, будто хотят, чтобы их прочли. И чтобы Норе сказали... Что-то больно падает на ногу. Щетка. Та самая, которую она сегодня зря купила. Потом напрасно рассказала отцу об Алике... Вдруг где-то рядом послышался знакомый звук. На миг рассек этот гул и снова исчез. Нора стала прислушиваться — может, повторится. Тогда она обязательно узнает, вспомнит. Ведь где-то слышала... — Пожалуйссста, есссли сссможете. Иоанна! Ее "ссс". "Пожалуйссста подвиньссся" — это в классе, на письменных по математике, чтобы увидеть, какой у Норы ответ. Нора быстро повернулась на голос. Это она, Иоанна! Только какая-то другая... Без кос. И высокая, худая. Разговаривает с военным. Прощается. Сейчас уйдет! — Иоанна! — Норе показалось, что она крикнула, но Иоанна даже не повернулась. — Иоанна! — теперь уже и правда позвала очень громко. Услышала. Но смотрит на Нору удивленно... испуганно... Будто не верит. Думала, что ее нет? — Нора?! — наконец Иоанна ее узнала. Или, может быть, поверила. — Ты?! Они обнялись. Хотя никогда не делали этого раньше. Иоанна, видно, тоже подумала об этом — они отпустили друг друга. Но стоят близко, рядом. И Нора смотрит на нее — пусть без кос, худую, но похожую на ту школьную красавицу, но все равно Иоанну! — Как математичка? — Нора и сама не понимает, зачем ляпнула это. И все же продолжает: — Больше не придирается к тебе? Иоанна мотнула головой. — А химичка? — Не знаю... — тихо отвечает Иоанна. — Я не хожу в школу. — Я тоже... — Нора опять возвращается сюда, к этим объявлениям. К пустоте под ее строчками. И слышит, как Иоанна говорит: — Я брата ищу, Мику... — Мику?! Его прозвали "образцовый брат". За то, что в школу ходил только с ней, Иоанной. И благовоспитанно нес ее портфель. — Мику... — И Иоанна показывает приколотое четырьмя довоенными кнопками объявление. На куске ватмана рейсфедером выведено: "Кто знает о судьбе Миколаса Контримаса, 1925 года рождения, вывезенного в Германию 27 апреля 1942 года, просим сообщить по адресу..." Улица та же. И дом. Значит, уцелел. — А я ищу маму, — говорит Нора. — И бабушку. — Их тоже вывезли? — Нет, здесь забрали. В самом начале... — А... — сочувственно протягивает Иоанна. И опускает глаза. Она тоже думает, что те, кого тогда забрали, не вернуться? — А твоя мама где? — стараясь, чтобы голос не дрожал, спрашивает Нора. — Дома. — Значит, у вас все как раньше? — и отсекается. Ведь Мики нет... — Мама дома... — повторяет Иоанна и еле заметно вздыхает. — Мой папа тоже здесь. — Да? — Иоанна обрадовалась, но лицо все равно грустно-неподвижное. — Разве он не на фронте? — Нет, демобилизовали. — Про ногу Нора не может сказать. — Хорошо, что ты не одна. — Хорошо... — повторяет Нора. — Девушки! — К ним пробирается военный. — Вы не знаете Лавриновича? Владика Лавриновича? — Нет. — Норе кажется, что ответила как-то безжалостно, и она спешит поправиться: — К сожалению, не знаем... — Он учился в восьмом классе, — все еще с надеждой говорит военный. — В восьмом классе первой средней школы. — А мы учились во второй, — словно извиняясь, отвечает Иоанна. Военный отходит. Они молчат. — В наш дом попала бомба, — наконец заговаривает Нора. — Знаю... Я там часто прохожу. И снова молчат. — А где вы теперь живете? — догадывается спросить Иоанна. — Я тут, недалеко, а папа... — заметив ее удивление, Нора умолкает. Но сразу спешит объяснить: — Он же не знал, что я осталась... И был ранен... в ногу... — Лавриновича... Владика Лавриновича... — снова слышится голос военного. — На фронте многих ранили... — говорит Иоанна. — Он не знал, что я осталась, — повторяет Нора. — Искал нас. Потом ему сказали — нас нет, никого... А эта женщина, тетя Люба, тоже была одна, с детьми... Ее муж погиб на фронте. Она очень хорошая. Иоанна молчит. — Детям нужен отец... — доказывает Нора. — А тебе? — Он ведь и мой тоже! — Тоже... Нора не знает, о чем еще говорить. — Я пойду... — И мне пора... Они пробираются к выходу. — Лавриновича... Владика Лавриновича, ученика восьмого класса... — Умоляющий бас провожает их до самой двери. Выходят на улицу. И обе останавливаются. Только теперь Нора замечает, что у Иоанны в сумке полбуханки хлеба и белый матерчатый мешочек, завязанный лентой. Нора узнала — Иоанна ее влетала в косу. В мешочке, наверно, крупа. Значит, у них больше нет Иоанниной няни Касте и Иоанна сама отоваривает карточки. А раньше ничего не делала. Даже своей комнаты не подметала. — Мне туда... — А мне в ту сторону, — показывает Иоанна. Нора кивает. Она помнит, где Иоанна живет. И обе продолжают стоять. — Никуда не торопиться? — нерешительно спрашивает Иоанна. — Нет... — Может, зайдём к нам? —

Хорошо. — И вспомнив, что мама Иоанны учительница, поспешно добавляет: — Если можно. — Да, да, конечно. Пошли. Только молча. — На днях уже, наверно, освободят Таллин, — наконец заговаривает Нора. — И Пярну. Там тоже идут бои. — Да, я читала. Опять молчат. Нора никак не может вспомнить, о чем они разговаривали раньше в школе. Иногда и перемен не хватало, на уроках передавали друг другу записки. На мгновение Норе даже показалось, что, может, не с Иоанной идет она теперь по улице. Украдкой взглянула. Иоанна. Только не та, не школьная. Нора хочет вспомнить тогдашнюю, как мальчишки ее прозвали — "принцессу". Это они нарочно, чтобы сделать вид, будто она им вовсе не нравится. А на самом деле... Вырезали на своих партах ее монограмму "И. К." — Иоанна Контримайте. Или одну букву "И". И над Микой подтрунивали, что он "образцовый брат" только из зависти, что не они, а он идет с ней в школу. Девочкам Иоанна тоже нравилась. Особенно ее косы — самые длинные и толстые во всей школе. Альда пустила слух, будто она их моет каким-то специальным мылом. Иоанна, конечно, смеялась. Но Альда уверяла — это нарочно, чтобы не делиться секретом. Сама, между прочим, очень старалась подражать Иоанне. Даже "ссс" старалась произносить похоже. — Ты у нас дома не говори, — тихо просит Иоанна, — что встретила меня там, у объявлений. — Хорошо. — Мама... нездорова. — Она умолкает. И ресницы опять вздрагивают. — Она не верит... что Мику вывезли. — Как это — не верит? — Ей кажется, будто Микас только куда-то вышел и скоро вернется... Или что он спит в своей комнате... И что... — Иоанна чуть запинается, — вообще ничего не изменилось. Все так, как было раньше... Нора не может уразуметь. Как это Иоаннина мама, их красивая учительница немецкого языка, не понимает, что Мику вывезли. И что теперь совсем не так, как раньше. Она же видит! Нора вспоминает ее — высокую, стройную. И одевалась всегда красивее других учительниц. Сколько у нее было платьев! И к каждому в тон — туфли. Тоже красивые, на высоких каблуках. Благодаря этим каблукам все знали, что будет на уроке. Если немецкий утром — первый или второй урок, — учительница вызывает кого-нибудь к доске, дает книгу — не учебник, а свою, для чтения, и говорит: "LesenSie,bitte,undЭbersetzenSie". Пока тот, запинаясь и мыча, читает и переводит, она вышагивает на своих высоких каблуках от двери к окну и обратно к двери. Приостановится возле читающего, бросит слово помощи и снова продолжает свой путь. Теперь по проходу вдоль парт и опять: к окну — к двери. К окну — к двери. Но если немецкий бывал последним или даже предпоследним уроком, она, уже усталая, сидела за столом. Объясняла что-нибудь новое и никого не вызывала. — Ты и о гитлеровцах ничего не упоминай, — слышит Нора теперешний, грустный голос Иоанны. — Хорошо. — И что твоей мамы нет, тоже не говори... Нора вздрагивает от этого "мамы нет", но кивает. — А может, мне... лучше не заходить к вам? — Нет-нет, что ты! — Иоанна, кажется, даже испугалась. — Идем. Мама будет очень рада. Ты ведь была у нее отличницей. Отличницей... Норе странно слышать это забытое слово. Внутри даже знакомо задрожало. Как раньше, когда они всем классом, волнуясь, шли к Иоанне на день рождения. Бывало очень неловко, что учительница им подает чай, сама нарезает торт. Старались есть особенно аккуратно, но, как нарочно, кто-нибудь обязательно ронял кусок торта — конечно, кремом вниз, себе на платье или, еще хуже, на ковер. — Куда ты? — удивляется Иоанна. Оказывается, Нора, задумавшись, не заметила, что они уже пришли, и чуть не прошагала мимо. В передней Нора все узнает — вешалку из оленьих рогов и черную подставку для зонтиков. И зеркало в широкой с резьбой раме. Но оно, кажется, висит чуть ниже — теперь не надо вставать на цыпочки, чтобы увидеть себя. И портьеры на окне те же самые. Иоанна почему-то распаивает первую, "запретную" дверь — в отцовский кабинет. — Заходи, теперь это моя комната. — А твой отец? — Он не работает. Сидит возле мамы. — Иоанна, это ты? — доносится из соседней комнаты-там столовая, вспоминает Нора — старческий голос. — Я, папа. Папа? Но у ее папы ведь был совсем другой голос. Нора хорошо помнит его — звучный, баритональный. И всегда, здороваясь, он отвечал двойным: "Здравствуй, здравствуй". Иоанна вынимает из сумки хлеб, белый мешочек с крупой. — Посиди, я сейчас. Кабинет такой же, как раньше. Те же самые книжные полки почти до потолка. Только книг в них теперь мало. Две полки даже совсем пустые, лишь стекло блестит. Письменный стол тоже прежний, на львиных лапах. И маленькие львиные морды на подлокотниках кресла. Норе кажется — сейчас войдет Иоаннин отец в своей домашней "профессорской" куртке и, как обычно, скажет: "А, Маркельските! Здравствуй, здравствуй. Что хорошего в твоей жизни?" А Нора всегда боялась, чтобы он не спросил о чем-нибудь, чего она не знает. Но теперь он, может, не войдет, если сидит возле больной жены. И Норе опять трудно

представить себе, что их красивая учительница больна, что лежит, как другие, в кровати, а старческий голос, который спросил: "Иоанна, это ты?" — действительно голос ее отца. Правда, девочки рассказывали, что он намного старше учительницы. Она была его студенткой, а он уже был женатый. И чтобы развестись, должен был писать папе римскому. Но не захотел и просто принял другую веру, перешел в лютеранство. Учительница тоже стала лютеранкой, и они поженились. Нора это знала. Но ей никогда не казалось, что отец Иоанны старый. Он такой красивый, в очках. А что волосы немного седые — так у профессора они и должны быть седыми. Он всем девочкам нравился. Даже Вите, которая говорила, что замуж выйдет только за военного. Чуть скрипнув дверью, возвращается Иоанна. — Я маме сказала, что ты здесь, и она хочет, чтобы ты зашла к ней. Только... — Иоанна запинается, — ты не обижайся, если она... скажет что-нибудь не так... Я ж тебе говорила... Они входят в столовую. Ту самую... Только теперь здесь непривычный полумрак — опущены шторы. А в углу, в кресле-качалке... Нора даже не сразу понимает, что это сидит их учительница — такая худая, сморщенная, совсем старушка. Только платье знакомое — зеленое. На голове — маленькой, будто тоже высохшей, — торчатся жидкие клочки волос. Вместо прежней красивой прически... А сидящий рядом очень сухой, сутулый старик, может, и правда отец Иоанны. Те же очки... — Мама, вот пришла Нора. — Здравствуйте... — Нора от растерянности сначала даже забыла поздороваться, — Здравствуй, Маркельските, — отвечает голосом учительницы старушка. Профессор тоже кивает. Только грустно, молча. — Садись, пожалуйста. У Норы трепыхнулось сердце — так учительница говорила, когда ставила пятерку. Или четверку. А если произносила только: "Садись", — значит, тройка... Нора опускается на стул. А пол под ногами кажется незнакомым. "Ковра нет!" — догадывается она. — Что у тебя хорошего? Как ты провела каникулы? — совсем как прежде, спрашивает учительница. Иоанна сзади больно сжимает локоть. И Нора поспешно отвечает: — Спасибо, хорошо... — Нора была в деревне, — выручает Иоанна. — Это очень хорошо. Ты купалась? — Д-д-д-а... — А немецкий язык за лето не выветрился из головы? — Учительница хочет спросить строго. — Я ведь проверю. Иоанна опять сдавливая локоть. — Я... повторяла... — Это хорошо. Иоанночка тоже занималась. Я хочу, чтобы вы знали больше, чем проходите по школьной программе. — Спасибо... Норе кажется, что она уже давно здесь. И теперь всегда должна будет сидеть в этой полутемной комнате напротив обоих стариков и отвечать на вопросы. А шевельнуться нельзя — локоть будто в тисках. — Как поживает твоя мама? — слышит она. Тиски сильно сжимают локоть. И все равно Нора не может ничего выговорить. — Твоя мама все еще обижается на меня, что я тебе вывела в прошлом семестре четверку? — Нет... Мы с Норой пойдем ко мне, хорошо? — Иоанна спешит опередить новый вопрос. — Чем меньше учитель балует пятерками, — продолжает ее мама, — тем усерднее ученики занимаются и, следовательно, больше знают. Это она говорила и раньше, в школе. — Мы пойдем, — опять выручает Иоанна. — Ты пригласи Нору поужинать с нами, — говорит учительница. — Пусть Касте сделает шарлотку... Иоанна все не отпускает локоть. — ...придет Микас, и мы будем ужинать. Локтю стало очень больно. — Он... сегодня вернется поздно, — говорит муж своим теперешним, старческим голосом, легонько поглаживая ей руку. — Тогда пусть Касте оставит ему ужин в духовке. — Хорошо, — покорно отвечает Иоанна. — И не забудь ей сказать, чтобы хлеб покупала в другой булочной. К обеду опять был невкусный. — Хорошо, мамочка, я скажу. А старик все так же успокаивающе гладит ей руку. — Пусть девочки идут, — говорит он. — Им надо поговорить, почитать. — Да-да, идите, — разрешает учительница. — Но обязательно повторите текст. Я потом проверю. Они возвращаются в кабинет. Теперь он Норе кажется больше и просторнее. Может, потому, что светло? Только маленькие львиные морды на подлокотниках кресла злобно скалят свои деревянные пасти. Иоанна сидит понуриив голову. И Нора ей тихо говорит: — Все равно хорошо, что у тебя есть мама... — Конечно, хорошо! — И неожиданно заговаривает совсем о другом: — Кого-нибудь из нашего класса видела? — Нет. — Юргиса вывезли. Вместе с Микой, они попали в одну облаву. — Юдиту тоже забрали. — Знаю. Мне рассказали... И что среди тех, кто ее гнал на расстрел, был Пранас. — Пранас?! Он же играл на аккордеоне! — И самой стало стыдно своих слов. Но она, правда, никак не могла себе представить, что Пранас, который на школьных вечерах стоял на освещенной сцене и играл, потом — с винтовкой... как гитлеровец. — ...и, конечно, удрал в Германию, — доносится голос Иоанны. — После того, что натворил, ничего другого ему не оставалось. Пранас... С винтовкой. Гитлеровец... В комнате тихо. Очень тихо. — Еще Раймонду иногда видела, — прерывает тишину Иоанна. — Она

приходила со своим отцом. Он папины книги покупал. Нора чуть не спросила, зачем их продавали. Но вовремя спохватилась. — А что... в школе? — решается она спросить. — Не знаю. Я ведь училась только первый год. А когда вывезли Мику и мама... — Внезапно Иоанна начинает уверять: — Не думай, мама не совсем больная. Ты же видишь, она узнает, помнит. И читает. Одевается тоже, как раньше. — Да... — соглашается Нора. И снова видит это обвислое зеленое платье и поредевшие волосы, по-прежнему зачесанные вверх. — Она только не понимает, что нет Мики... — объясняет Иоанна. — И что мы Касте давно отпустили. И еще... что вещей уже осталось совсем мало. Правда, ее платье папа не разрешает продавать. Хотя они ей теперь очень широки. Продаем его костюмы. Шубу продали. Ковер. И мои косы... Но главное — книги. — А твоя мама... этого не замечает? — Мы ей говорим, что отдали в переплет. — И она верит? — Верит. Потому что сразу забывает. Потом опять спрашивает. И мы снова говорим то же самое. — А разве отец не работает? — Нет. Во время оккупации университет был закрыт. А теперь... нельзя оставить маму. Да и если она поймет, что папа работает, сама тоже захочет пойти в школу. А так мы ей говорим, что каникулы. — Она и в это... верит? Иоанна кивает. — Может, потому что мы с папой тоже дома. — А зимой? — Она, кажется, не совсем понимала, что зима. Мы же ее прятали. Гитлеровцы таких больных не лечили. И... забирала. Было очень страшно. Особенно, когда над нами, в шестой квартире, жил гестаповский офицер. — Но теперь ведь можно... — Нора решила вслух произнести это слово: — ... лечить. — Мы и лечим. Только дома. Папа не хочет отдавать ее в больницу. К нам ходит его друг, профессор. — Иоанна помолчала. — Все надеемся — когда Микас вернется и, она его увидит, — может, начнет поправляться. Иоанна вздыхает. Теперь уже не стеснясь. — Вот я и хожу каждый день к этим объявлениям. Хотя... если Микас вернется, ведь сам придет домой. — Конечно, придет! — спешит заверить Нора. И, помолчав, добавляет: — А мой отец на фронте потерял ногу...

## Глава VIII

Нора старается уснуть. Она знает, что не надо бояться. И вслушиваться в тишину не надо. Можно спать. А все равно привычно ждет предутренних часов, когда можно быть совсем спокойной. Но она же спокойна! Нора начинает, как каждой ночью, убеждать себя, что она здесь, в городе. Вспоминает прошедший день, будто повторяет его. ... Она снова ходит по толкучке. Смотрит, как люди торгуются, как примеряют. Сама отдает дяденьке с култышкой пять червонцев за щетку. А тетя Люба недовольна, выходит из комнаты... И Нора рассказывает отцу об Алике. Отец сидит бледный, понурился... "Дети категоричны..." Потом Нора спешит туда, к объявлениям. Укоряет себя, что давно туда не ходила. На объявлении под ее строчками — пусто... Иоанна... Нора испугалась, что сейчас вспомнит и про кресло-качалку, про учительницу, и сразу "перепрыгнула" к прощанию. Иоанна проводила до дверей. На улице у нее было такое чувство, будто уже давно не видела всего этого — людей, домов, неба. Как здесь хорошо! Люди спешат, обгоняют друг друга. Даже машины катят особенно лихо. Нора шла быстро, широко размахивая руками. Она идет! Шагает по улице, а не сидит в полутемной комнате, где с кресла-качалки на нее смотрит старая высохшая женщина, совсем непохожая на учительницу. А рядом старик в очках успокоительно поглаживает ей руку. Нора шла и считала шаги бодрые, легкие. А ветерок слегка подталкивал. Она идет по улице. Здесь много людей. И она вместе с ними! Но когда завернула в свой двор — опять оказалась одна. И на лестнице никого не было. Нора открыла дверь комнаты, и в уши ударила тишина. Застоявшаяся, неживая, как у Контримасов. Ей даже почудилось, что здесь такой же, как у них, полумрак. Будто он всю дорогу следовал за ней невидимый, а теперь выполз из-за спины и уже расплылся по углам. Ее сковало то же оцепенение, которое было там, когда она сидела напротив кресла-качалки и отвечала, что мама не обижается за четверку. Вдруг ее пронзил ужас — неужели?! Она боялась даже самой себе признаться в этом. Неужели она... хоть в чем-то такая же? Ведь тоже ждет маму! Нет, нет! Нора силилась не задрожать. Она не так ждет. Она помнит ту ночь. И голос солдата, который кричал на бабушку. И как душно было в ванной под бельем. Она знает, что

маму забрали. И что никто из тех, кого забрали, не вернулся. Но... — Нора поспешно искала правильное слово — она надеется. Все равно было жутко. Будто перепуталось все — эта комната, полумрак у Контримасов, вопросы учительницы, здешняя тишина. Тяжелая, как в укрытии. Захотелось убежать. Вырваться из этой тишины. И Нора метнулась назад. Сбежала по лестнице. Во дворе две маленькие девочки, присев на корточки, деловито пересыпают песок. Набирают в совочек и медленно, будто просеивая на ветру, высыпают. Опять набирают — наверно, даже тот самый — и снова высыпают. К подъезду напротив устало тащится женщина с двумя полными ведрами картошки. Видно, за городом у нее огород и по воскресеньям она туда ходит накопать картошки. На втором этаже, над самой Нориной головой, женский голос, сильно фальшивя и поэтому, конечно, очень громко, запел: В Паланге, в море Любовь моя утонула, И холодные волны Ее не отдадут. И опять сначала: В Паланге, в море Любовь моя утонула... Мама от такой фальши заткнула бы уши. А Норе хочется, чтобы эта женщина вышла сюда, во двор. И Нора стала бы ее учить петь эту мелодию правильно. Долго бы учила, весь вечер... Но женщина не выходит. Продолжает оглашать двор все тем же единственным куплетом, каждый раз фальшивя по-иному... И Нора побрела к подворотне, где у коричневой двери есть маленькая кнопка звонка и табличка: "К дворнику". Оказывается, почтальон принес письмо, тетя Янова уже дважды поднималась к ней. Письмо? Нора обрадовалась, оно, конечно, от Алдоны. Но очень непривычно, что на конверте написано "Н. Маркельските". Раньше письма получали только отец и мама. Теперь она. От Алдоны. И все словно куда-то уплыло. Отдалилось. Разговор с отцом, Иоанна, учительница. Был только этот серый конверт... Стало спокойно. Как там, в деревне, после освобождения, когда она была с Алдоной. Помогала ей ухаживать за скотом, готовить еду. Вместе пропалывали огород. — Почитай, что пишут? — вернул ее сюда голос тети Яновой. Нора разорвала конверт. В первое мгновение показалось — не Алдона это пишет. Слова чужие, будто списанные откуда-то. "Шлю привет от себя, мужа своего Тадаса и отца нашего Йонаса Апутиса". Нора еще раз пробежала глазами эти строчки. И фамилию. Казалось, вовсе не от дедка этот привет, а от кого-то другого, чужого. Но дальше Алдона уже писала обычно. Что недавно забор починили, что огурцов в этом году было много — и продала, и засолила. А белую курицу, несушку, задавило машиной. "Но главную нашу новость я тебе придержала напоследок — отца нашего Йонаса Апутиса... — и опять Нора приостановилась взглядом на фамилии, чтобы привыкнуть — это и есть дедок, — ...отца нашего Йонаса Апутиса хотят сделать председателем сельсовета. Тадас говорит — не надо, стар уже, да и бандиты кругом. Еще убьют за это и его и нас. А отец, сама знаешь, больше молчит. Только раз, когда спросила, ответил: "Не решил еще". А я не знаю, как лучше, — и хочу, чтобы отец к старости уважение людей видел, и беды боюсь. Да и нехорошо, что Тадас недоволен. Как ты думаешь? Что говорят у вас в городе? Верно ли, что теперь советская власть уже навсегда и гитлеровцы не вернуться вместе с американцами, как тут ходят всякие слухи. Рассказывали, даже назначен срок высадки американцев около Швентойи". — Это кто так говорит? — недовольно спросил дядя Ян. Внезапно погасло электричество. В темноте снова раздался недовольный голос дяди Яна: — Это кто ж так говорит насчет американцев? — Не знаю. Посидели в темноте, помолчали. Когда лампочка снова стала накаляться, Нора глянула, что в письме дальше, но Алдона уже писала о другом. "Что вы там в городе едите? Говорят, у вас ничего нет. Ведь и правда — ни своей картошки, ни молока. Если тебе плохо или еще что не так, приезжай обратно. Тадас тоже говорит: "Если хочет, по мне — пусть живет". Я ж тебе говорила — он только с виду строгий. Потому что был напуган. А если достанешь керосина — купи. Скоро зима, а Шельма, сама знаешь, не любит, чтобы ее доили в темноте. На то и Шельма". Последняя строчка опять будто чужая: "Жду ответа, остаюсь с приветом и уважением. Алдона". — Думают, здесь керосин из крана наливают, — почему-то недовольна тетя Янова. — Дядя Ян, — спросила Нора, — а как вы думаете... надо дедку быть председателем? Он молчал. Нора знала — надо ждать. Он всегда так — сперва как бы не хочет ответить, а потом начинает. И он действительно заговорил. Медленно, будто прилаживая, подгоняя каждое слово к уже сказанному. — Кто его знает... Если человек старательный — не для себя одного, для других тоже — то хорошо бы. А что бандиты за это могут... тут уж сам должен выбирать. Если так за новую власть и за людей, что головы не жалко, — почему бы и нет. А коль страшно — то без председательства, конечно, спокойнее. Но ежели подумать, что бандиты не везде и не так уж их много... И что в конце концов их выловят... Так Нора и не поняла — надо дедку идти в председатели или не надо. Ей бы тоже очень хотелось, чтобы дедка



уважали, чтобы все знали, какой он хороший. Но... Она поднялась к себе. Опять развернула письмо. Но глаза смотрели только на одну строчку. "Тадас говорит- не надо, стар уже, да и бандиты кругом". Могут убить... Нет, нет! Нельзя, чтобы дедка... как Стролисов... Она напишет, чтобы не шел в председатели. Она быстро выдвинула ящик комода, взяла листок — из той самой бухгалтерской книги, но обмерла: когда дедка могли убить за нее, она же не говорила: "Не надо!" Нора опустила листок. Значит, и теперь не должна. Но если дедка... Тогда тоже могли. Как тех, у мельницы... Но она же надеялась, что ее не найдут. Теперь тем более можно надеяться, что не убьют. Дедок же сам говорил, что их выловят. И дядя Ян. А все-таки... Нора легла. Закрыла глаза. Что написать? Она очень хочет, чтобы дедок был председателем. Но не решается написать. А вдруг... И чтобы отказался — не может... Ведь она сама сейчас жива только потому, что дедок не боялся. То есть, наверно, боялся, даже очень. Но... он же сказал: "Гитлеру все равно свернут шею, а кого не дашь убить — тот останется". Она осталась. Так что же написать Алдоне? Нора лежала, уставясь в темноту, будто оттуда ждала ответа. Но его не было. Внезапно появилось другое: а сама? Как бы она сама?.. Нора понимала, что это глупо. Никто ей не предложит стать председателем сельсовета. Она даже не знает, что председатель должен делать. Но вопрос не исчезал. А если не председателем, кем-нибудь другим? Только тоже там, где бандиты за это могут... Было бы очень страшно... Но ведь дедку, Петронеле, Стролисам, даже тем, кто пускал ее на одну ночь, тоже было страшно. А все-таки... Нора так поразилась новой мысли, что чуть не произнесла ее вслух- значит, ей тоже нельзя бояться?! То есть не то чтобы совсем не бояться, но не надо думать об одной себе, а быть такой, как они, которые ее прятали. Ведь если чувствовать только страх... Нет, нет! Она не хочет быть как те, которые закрывали перед ней дверь, — хотя было темно, холодно и ее могли схватить... Она не хочет быть такой! На работу Нора пришла очень рано — дверь на их этаж была заперта и уборщица, Стефания Раковска, еще убирала. Нора сквозь стекло видела, как она, опустившись на корточки, усердно трет в коридоре пол. Чтобы стуком в дверь не напугать ее, Нора прислонилась к стене и стала ждать. Теперь она уже привыкла, что старушке говорят просто Стефания Раковска. А вначале очень удивилась, что старого человека называют так невежливо. Но Марите объяснила, что иначе она не откликается и сама настаивает, чтобы ее называли только так. Нора ее впервые увидела, когда раздавала карточки. В конце дня, уже оставались всего четыре карточки, в дверь тихо постучали. Вошла старушка. Такая же сухонькая, как Петронеле, и даже в таком же черном платке. "Естем Стефания Раковска", — сказала она. Когда Нора подала ей ручку, чтобы расписалась, она долго и старательно прилаживалась. Даже уши зачем-то высвободила из-под платка, будто они тоже понадобятся. Наконец медленно и очень большими, почти печатными буквами, залезая на верхнюю строчку и заняв половину нижней, вывела целиком имя и фамилию. Взяла свою карточку, поклонилась, тихо пробормотала: "Бог заплац", — и вышла. Марите с Людмилой Афанасьевной улыбались. Нора думала — потому что старушка перепоручила богу отплатить ей добром за хлебную карточку. Но, оказывается, они просто вспомнили, почему она не хочет, чтобы ее называли ни по-новому — "товарищ" или по имени-отчеству, ни по старинке "пани". Если по-новому — будет недоволен ксендз, потому что все "товарищи" не верят в "пана бога". Если по старинке — "пани", — будут недовольны теперешние начальники. А она никому не хочет перечить. Поэтому пусть ее лучше называют так, как нарекли при крещении и как "пан бог", когда придет час, призовет ее... А теперь Нора стояла и смотрела сквозь стеклянную дверь, как она, эта сухонькая старушка, трет мокрой тряпкой в коридоре пол. Может, помочь ей? Нора тихо, одними ногтями, поскреблась в стекло. Старушка вздрогнула и испуганно подняла голову. Потом привычно, как Петронеле после молитвы, встала и поспешила открыть дверь. — Доброе утро... — Нора хотела добавить "тетя Раковска", но не решилась. — Дзень добры, млода начальничка. "Начальничка". Других она тоже не называет ни товарищами, ни панами. Все у нее начальники. Даже Нора, которая в ведомости на зарплату и карточки стоит всего на строчку впереди нее, предпоследней... — Можно, я вам помогу? Старушка так удивилась, что, кажется, даже испугалась. — Мне все равно нечего делать... — пыталась объяснить Нора. — Никого еще нет. — И взяла ведро. — Я вам принесу воды. Когда она вернулась обратно, старушка шепнула свое: "Бог заплац", — и несмело, будто в чужое, макнула в ведро тряпку и опять стала тереть этот некогда крашенный пол. А Нора ждала, когда вода снова станет грязной. Но в кабинет начальника старушка ведра не взяла. — Там мьть не будете? — спросила Нора. — Там паркет, — с гордостью за тот пол ответила старушка. Все

равно Нора последовала за ней. И сразу увидела. Пианино. Такое же, как было дома... Нора знала, что оно здесь стоит, видела, когда заносила начальнику его карточки. Тогда от неожиданности чуть не споткнулась о край ковра. Неловко задела стул, стукнулась о кресло. А когда шла назад, старалась не смотреть на этот знакомый черный блеск, на изгиб крышки. Только на дверь. Потом спросила Марите, кто на нем играет. "Никто. Просто так стоит". И все равно Нора прислушивалась — не донесутся ли оттуда звуки музыки. Теперь она стоит рядом. Совсем близко, может коснуться. Пedaли тоже немножко стертые. И изгиб крышки совсем такой, как у ее пианино. И гнездышки для свечей. Только давно не чищенные. А мама их чистила часто, чтобы блестели. Нора любила представлять себе, как в старину, когда еще не было электричества, музицировали. Свечи в канделябрах, свечи на камине. И в этих гнездышках, по обеим сторонам нотного листа, мерцают, колышутся огоньки свечей. Тогда и оркестры играли при свечах. Мама рассказывала, что Гайдн даже написал симфонию, которую назвал "Прощальной". Когда исполняют финал, валторнист и гобоист, сыграв грустную прощальную тему, гасят на попитрах свечи и, взяв инструменты, тихо выходят. Музыка продолжает звучать. Затем играет свою прощальную фразу фаготист и, погасив свечу, тоже уходит. За ним покидает оркестр один из скрипачей. Музыка звучит еще тише. Смолкает мелодия флейтиста, и гаснет на его попитре свеча. На просцениуме уже полумрак. И грустные, постепенно стихающие звуки. Уже осталась только одна скрипка. Но замирает и ее последняя нота. Гаснет последняя свеча... Нора вздрагивает — старушка нечаянно задела ее, вытирая с пианино пыль. — Можно, я буду? — Нора начинает тряпкой водить, будто гладить знакомую черную крышку, бока. И дерево, словно тоже довольное этим прикосновением, блестит. Стукнула входная дверь. И этот стук вспугнул их — ее и пианино. Оно опять стало чужим, здешним... Уже приходят на работу. Надо выйти отсюда. Но она стоит. И все водит мягкой тряпкой по знакомой поверхности пианино. Раздается мужской голос. Может, это начальник? А если спросит, почему она здесь? Нора отрывается от пианино и выбегает в коридор. В дверь входит секретарша Лаукайте в красивом синем пальто. Рагенас Людмила Афанасьевна в своей шинели. Кассирша. Вторая девушка из бухгалтерии, Юля, с косами вокруг головы. Начальник отдела кадров Мотылев, тоже в шинели. Товарищ Астраускас, Марите. Можно подумать, что все они собирались вниз, у подъезда, чтобы вместе подняться по лестнице. А прямо от двери снова расходятся. Будто разветвляются — каждый в свою комнату. — Ты что здесь делаешь так рано? — удивляется Марите. — Пыль вытирала... Марите поднимает вверх подкрашенные брови. Водворяет их на место, но вокруг глаз собирает гармошку морщинок. Улыбается и Людмила Афанасьевна. Даже товарищ Астраускас. Неужели она так смешно ответила? Сегодня она, кажется, все утро говорила невпопад. Когда еще улыбались ее ответу: "Пыль вытирала", — Нора почему-то рассказала, как вчера купила совсем ненужную щетку. Тут уж засмеялись вслух. А Нора еще стала изображать, как шла по городу, гордо размахивая этой старой потертой щеткой. И всем опять было смешно. Ей самой тоже. Даже недовольство тети Любы, что нечего еще чистить, казалось очень потешным. Но вдруг Нора вспомнила, что забыла эту щетку у Иоанны. А там в кресле-качалке ее мама... Рассказала им. Стало еще грустнее. Вернулись и ночные раздумья. Что написать Алдоне? И Нора им рассказала про вчерашнее письмо, про то, что дедка хотя бы сделать председателем. — Очень хорошо, — обрадовалась Людмила Афанасьевна. — Только такому человеку и быть председателем. — Но там же бандиты... И Алдона не знает, что делать. — Советуется с тобой? — подозрительно серьезно спросила Марите. — Почему бы и нет? — заступился за нее товарищ Астраускас. — Наша Нора вполне взрослый человек. Он сказал "наша". Но почему-то думает, что она взрослая... А Людмила Афанасьевна, закладывая в машинку новый лист, тихо вздохнула. — По-моему, в таких делах не спрашивают совета. Тут уж как совесть подскажет... Норе показалось — она вспомнила о своем сыне. Добровольно ушел на фронт и погиб в свой день рождения — исполнилось восемнадцать лет... Получив похоронную, Людмила Афанасьевна тоже попросилась на фронт. Демобилизовали ее недавно, по состоянию здоровья: она дважды была ранена. Нора почувствовала, что в комнате очень тихо. Щелкнул портсигар — это Людмила Афанасьевна вынула папиросу. Курить она тоже начала после гибели сына... И опять тишина. Марите начала печатать. Будто силясь раздолбить эту тишину, расколоть ее. Но она все равно оставалась — сверху, рядом. Вклинивалась в паузы. Нора очень хотела стряхнуть ее, услышать хотя бы свой голос. — Извините, пожалуйста... Людмила Афанасьевна вопросительно посмотрела на нее. — ...что я

рассказала... Как учительница ждет сына. Людмила Афанасьевна вздохнула. — Ничего... Я ведь тоже жду. Не так, как она... Но все равно еще не могу поверить, что его нет. Значит, это ничего! Можно ждать, даже если знаешь?.. А вчера она этого так испугалась. Подумала, что и она как учительница. И Норе очень захотелось сказать Людмиле Афанасьевне что-нибудь хорошее. — Может быть, ваш Игорь правда вернется... — Нет... Муж его сам хоронил. Они в одном полку воевали... И Норе стало стыдно, что она сегодня все говорит невпопад. Хоть бы товарищ Астраускас скорее послал в город разносить бумаги. Но, как назло, идти куда не надо было. Лежало только одно письмо, и то не срочное, можно отнести завтра, вместе с другими. Нора принялась расчерчивать журнал. Тот, в котором расписываются, когда приходят на работу и когда уходят. Она старалась ни о чем не думать. Только выстраивать эти ровные линии через каждые шесть клеточек. Она и геометрию любила только потому, что можно чертить. Красиво, разноцветными карандашами. Треугольник или квадрат — синим, пересекающую линию — красным. Пунктиры — черным. Здесь разноцветных карандашей нет. Только фиолетовые чернила и огрызок химического карандаша. Вот Нора ими и "забавляется", как Марите это называет. Она вообще говорит, что Нора зря делает все то, что каждый велит. Журнал — дело секретарши, заметки в стенгазету наклеивать — есть редколлегия. Надо уметь себя поставить. А то всякий норовит спихнуть ей то, что самому делать неохота. Но другое, то, что они делают, она ведь не умеет... Марите советуется учиться печатать на машинке — это всегда верный кусок хлеба. И, чтобы заработать его, не надо быть у всех на побегушках. А Норе кажется — все равно, как его заработать. Главное, что сама зарабатываешь, что тебе его не дают другие. Да и разносить бумаги или чертить совсем нетрудно. Будто даже не настоящая это работа, а так... И Нора чертит. По пять линий на странице. А, переворачивая, украдкой поглядывает на Людмилу Афанасьевну — очень она грустная? Раньше, до войны, наверно, была такая же, как все мамы. Спрашивала про отметки, накрывала на стол. И улыбалась. Не курила. А каким был ее сын, Игорь? Может, такой, как Микас? Красивый, воспитанный. А может, как Йонас, на которого его мама вечно жаловалась: не слушается, не хочет заниматься. Нет, Игорь, наверно, был хорошим. Учился хорошо. И за обедом рассказывал про свои пятерки. А Людмила Афанасьевна, будто невзначай, подкладывала ему еще одну котлету. Теперь этого уже никогда не будет. И его самого Людмила Афанасьевна больше не увидит. И она это знает. А вот сидит, печатает. Но ей же плохо. Очень плохо! Неожиданно — Нора даже вздрагивает, и линия на странице сбивается вкривь — открывается дверь. В комнату входит товарищ Мотылев, тот самый начальник отдела кадров, который ее сюда принимал. — Людмила Афанасьевна, — говорит он под скрип своих сапог, — к сожалению, вам сегодня ночью придется дежурить. — Почему сегодня? — Она, кажется, огорчена. — Мне же завтра. — Заболела Руткуте, и график передвигается на день вперед. — А я как раз на сегодня договорилась... — Можно мне? — вызывает Нора. — Я могу! Людмила Афанасьевна, кажется, не верит. — Честное слово, могу! Мне все равно. Поменяемся. — Нора очень хочет, чтобы Людмила Афанасьевна согласилась. — Ладно, договоритесь, потом мне скажете, кто будет. — И Мотылев выходит. Нора уже дважды проверила, хорошо ли заперта входная дверь. Подходила к отделу кадров. Сургучная печать смотрела на нее круглым коричневым глазом. Обошла комнаты. Никого. Лишь письменные столы, будто застывшие безглавые мамонты, стоят, упершись в пол. Вернулась в комнату секретарши. Телефон молчит. Марите, уходя, пошутила: "Будет скучно, позвони кому-нибудь". Некому. Это раньше она звонила Юдите, другим девочкам. Папа сердился — даже задачи по телефону решают. А теперь ни Юдиты, ни уроков, ни задач... И сюда никто не звонит. Тихо. Дома у них аппарат был совсем другой. Высокий рычажок для трубки и ручка. Надо было покрутить, чтобы телефонистка ответила. А этот без ручки. Достаточно снять трубку. Правда, товарищ Астраускас жалуется, что иногда приходится долго ждать, пока телефонистка отзовется. Только "восьмая" быстрая. И голос у нее веселый. Едва успеваешь снять трубку, а она уже, будто здороваясь: "Восьмая!" Говорят, после войны телефонисток не будет. Поставят автоматические станции, и каждый сам сможет набрать номер. Нора очень удивилась — как же это? Товарищ Астраускас стал объяснять. (Он всегда ей все объясняет, как учитель.) Но она ничего не поняла и только краснела — опять не знает того, что другим понятно. А в анкете написано: "незаконченное среднее"... Она всем, наверно, кажется похожей на Пране-молочницу, которая вместо подписи ставила три крестика. Об этом Нора думает каждый раз, когда говорят о книгах, истории, политике, а она стыдливо молчит. Когда-то мама в шутку такое предсказывала: "Представь, тебя пригласили в гости. С тобой, конечно, говорят о музыке,

композиторах. Но неожиданно заходит разговор о положении на Дарданеллах. И ты хлопаешь глазами — даже не знаешь, где они. Потому что в таком-то классе не подготовила урока по географии". Тогда Нора улыбалась. Думала — не будет такого... Вдруг она вздрогнула — показалось, что в кабинете начальника зазвонил телефон. Наверно, тот, прямой. Нора быстро открыла дверь. Распахнула вторую. Тихо... А в тамбурчике между обеими дверьми можно было бы сделать укрытие. Только если ненадолго, потому что надо стоять. Или сидеть на полу, поджав ноги. Как в шкафу. Чтобы не смотреть на пианино, Нора отворачивается. Вот ковер, за который тогда зацепилась. Кресла. Диван. Письменный стол. Чернильный прибор — очень красивый. Это резьба по дереву. На подставке дубовые листья. Чернильницы в виде маленьких пеньков с желудями на крышках. И на пресс-папье большой желудь. Все равно она видит пианино. Круглый вертящийся стульчик. Тоже такой, как дома. Нора робко приближается. Несмело коснувшись, крутит. Он стал выше. Теперь бы сесть... И она садится. Рука сама поднимается открыть крышку. Клавиши! На "фа" первой октавы отломан уголок костяшки. На других они целы, но желтоваты. На ее "Беккере" были белее. Нора не моргая смотрит на эти знакомо-незнакомые клавиши. От напряжения начинает мерещиться, будто не клавиатура это, а распиленная на ровные полоски белая поверхность. И в нее вставлены черные костяшки. Господи, что ей лезет в голову! Это же клавиши! Можно нажать на любую, и раздастся звук. "ЛЯ". "ДО". "СИ-бемоль". Надо только поднять руки. Но они лежат на коленях неподвижно. А глаза смотрят. Чтобы привыкнуть, поверить. Раньше, когда садилась, сразу ставила ноты и начинала играть. Тогда это не были черно-белые клавиши, по которым пальцы бегают, берут аккорды, мчатся в пассажах. Были только звуки, мелодия! В ней самой, вокруг. Везде одна только музыка! А здесь тишина. Тяжелая, глухая тишина. И неподвижно-немая клавиатура... Рука поднялась, и палец несмело надавил на "до". Раздался короткий глухой стон, совсем непохожий на звук. "Ре", "ми". Они тоже другие! "Фа", "соль", "ля-диез". Не они, совсем не они! И рука от напряжения дрожит. Нора старательно растопыривает пальцы и берет аккорд. Но они испуганно отскакивают — не так! Звучит не так! И снова тишина... А Норе очень хочется разорвать ее, услышать прежние звуки. Хоть гамму, самую простую гамму! Она быстро поднимает отяжелевшие руки. Но пальцы совсем неуклюжие. Даже мешают друг другу. Только очень хотят чувствовать клавиши. Может, еще раз попробовать? Аккорд. Секстаккорд. "Ми-соль-до". Пальцы не слушаются. Но она все равно повторяет: "ми-соль-до", "ми-соль-до". Нет... И руки сами легли на колени. А глаза смотрят на клавиши. Чужие, будто нарисованные... В школе, когда их только начали знакомить с нотами, учительница велела нарисовать на бумаге клавиатуру и под каждой клавишей карандашом написать название ноты. И так "играть" на бумаге. Потом, когда запомнили, где какая нота, названия стерли. Здесь названий тоже нет. Нора их помнит. И может сыграть. Даже начинает казаться, что она играет. В уме, про себя. Ту самую хроматическую до-минорную гамму. Еще раз ту же самую. Прелюд Грудиса. Та-та, та-та-та-та-та... Нора нажимает на педаль. Другой ногой отбивает такт. Только руки лежат неподвижно... И в комнате та же нестерпимая тишина. Клавиши молчат. Потому что пальцы не могут забегать по ним. Они отморожены! И все эти годы Нора их не разминала... Но она же не могла! Конечно, не могла... И Нора смотрит на свои пальцы, красно-синие даже в тепле, виновато поджавшиеся на коленях. А мама говорила: "Представь себе, ты пианистка. Объявлен твой концерт..." Не будет этого, мама! Не будет! Нора хочет бить по клавишам, колотить. Не будет этого! Хоть бы скорее прошла ночь. Придет Марите, Людмила Афанасьевна. Будет как каждый день... А еще... днем не так холодно. Вечером, когда она выбежала в коридор, даже не закрыв крышку, ее очень трясло. Она шагала по коридору, чтобы эта дрожь прошла. Старалась не думать о пианино. Помнить только, что она живая, осталась. И папа есть. Она здесь работает. Это же очень хорошо! Завтра пойдет к папе. Посоветуется с ним, что написать Алдоне. А летом, когда дадут отпуск, они поедут к ней. И Петронеле навестят. Жаль, что Петронеле не умеет читать — Нора бы и ей написала письмо. Еще на могилу Стролисов обязательно поедут. Посадят цветы. И мельника разыщут. Правда, она не знает названия деревни, но найдет. Мельниц ведь немного. Нора старалась думать только об этом. Представлять себе, как поедет. Мельник ее, наверно, не узнает. А доски, за которыми пряталась под лестницей, еще лежат? Внезапно она спохватилась, что в кабинете может зазвонить телефон. Вернулась. Опустила крышку пианино... Дрожь не проходила. И Нора наконец поняла — это не только из-за пианино. Здесь холодно. Она села в кресло и поджала под себя ноги. Не помогло. Свернулась на диване. Все равно было зябко. Плечам, спине, коленям. Только теперь она вспомнила, что

все приносят на дежурство пледы или пальто. Людмила Афанасьевна — свою шинель. Нора тоже могла бы принести. Не пальто — тетя Люба его перешивает в жакет, чтобы отрезать заплату на месте выжженной дыры. Но папино солдатское одеяло, которое они ей отдали. Теперь закуталась бы в него... А здесь закутаться не во что. Тут только шторы затемнения и ковер. Но он на полу. Чем больше Нора дрожала, тем неотступнее представляла себе, как ложится на пол, а краем ковра — толстым, тяжелым — накрывается. Наконец не выдержала. Слезла с дивана, тихо переставила с ковра на пол кресла и легла. Натянула на себя край ковра. Очень знакомо запахло старым чердаком. И опять накинuloсь недавнее... Она понимала, что лежит на полу. Чувствовала шершавость ковра, в носу першило от чердачного запаха. Но чудилось, будто все еще сидит за пианино. И пытается играть. Гаммы, упражнения. Прелюд Грудиса. Ноктюрн Шопена — тот, что играла на последнем экзамене. Она его помнит! Но пальцы... И снова пронзила мысль: они теперь всегда будут такие — негибкие, отмороженные. И уже никогда не смогут ловко бегать по клавишам. Она не сможет играть! Никогда! Нора будто только теперь поняла, какое это безжалостное слово никогда! Она до боли мяла свои пальцы, сжимала их в кулак, опять распрямляла. Только бы почувствовать, что они могут стать прежними, легкими. Но они были все такие же — одеревенелые, неуклюжие. Такие не могут играть... Не думать об этом! Хоть немного не думать. Помнить, чувствовать, что она теперешняя. Работает. Это ведь хорошо! Есть отец, тетя Люба, Марите, тетя Янова. И не надо бояться, что расстреляют, не надо прятаться. Это же так хорошо! Но как без музыки?... Выходит, она давно, все время хотела играть. Только не понимала этого. И может быть, поэтому казалось, что все теперешнее — работа, хлебные карточки, расчерчивание журналов — не навсегда. Будет другое... А другого не будет. Никогда. Таких пальцев не размять. Не разыграть... Она быстро открыла глаза, чтобы не застонать. Она здесь, в кабинете. Все еще не рассвело. Нора хочет заставить себя думать только об этом. О рассвете... Серая пелена за окном, кажется, чуть посветлела. Но утро все равно еще не скоро. Это летом ночь переходит в день почти сразу. Только зарозовеет на востоке небо, пробежится по верхушкам деревьев предутренний ветерок, и листочки начинают оживленно шелестеть — разминаются после ночной неподвижности. Просыпаются птицы и поднимают такой щебет, такое чириканье, будто соревнуются, чьи трели звонче, кто голосистее. Или, может, кто радостней встречает утро... Но это летом. И не здесь, а в деревне. Тут от размытой черноты за окном только виднее стали ножки мебели на полу. У самой ее головы ножки кресла, низкие, похожие на продолговатые колодки. Чуть дальше, квадратные — письменного стола. Четыре высокие журавлиные ноги за столом — стула. А маленькие, будто вдавленные в пол кругляшки у самой стены — книжного шкафа. Чтобы не смотреть влево, где пианино, Нора крепко зажмуривает глаза. Старается помнить, представлять себе только эти ножки — кресла, стула. Только эти. Стола... Шкафа... Внезапно Нора начинает понимать, что уже светло. Неужели задремала? И правда, светло. Сейчас придет уборщица, Стефания Раковска. А она тут лежит. Нора вскакивает. Край ковра словно с облегчением шлепается на свое привычное место. А Нора удивленно оглядывает платье — оно стало странно другим, тусклым. Это от пыли! Ковер, видно, очень пыльный. Так вот почему пахло старым чердаком... Она начинает поспешно стряхивать пыль с боков, живота, рукавов. Но это не помогает — на платье следы ее рук и пыльные разводы. Нора быстро стаскивает его и начинает выбивать — о край кресла, стула, стола. Стукнула входная дверь. Это Стефания Раковска! Нора спешит натянуть платье. Товарищ Астраускас очень удивился, что она здесь. — Можешь идти домой, после дежурства положен выходной день. — Спасибо. Я не хочу... — Нора чуть запнулась и вместо "домой" добавила: — спать. Я ведь привыкла... — Невеселая привычка, — еле заметно вздохнул товарищ Астраускас и, взяв со стола какие-то бумаги, вышел. Наверно, к начальнику. Туда, где пианино... — А я во время дежурства прекрасно высыпаюсь, — поспешила заговорить Марите. Норе показалось — нарочно, чтобы не дать ей продолжить о деревне, о том, что там ночью не спала, боялась облав. Она уже не раз замечала: Марите, отец, даже тетя Янова стараются прервать ее, когда она начинает вспоминать, что было. И Нора зареклась говорить с кем-либо об этом. Но вот не получается... — Я здесь тоже не сплю. — Людмила Афанасьевна хочет загладить Маритину поспешность. — Даже не ложусь. Иначе засну и не услышу телефонного звонка. Фронтальная привычка — спать даже при канонаде. Было бы время. — Я сперва тоже не ложилась. — И Нора сама не заметила, как сказала: — Хотела играть. Людмила Афанасьевна смотрела на нее, будто проверяя — не ослышалась ли. У Марите рука замерла, не дотронувшись до буквы. — Ты играешь?! — удивилась она. — Я училась.

Мама хотела, чтобы я была пианисткой. Нет, не только мама. Она сама тоже очень хотела. И заниматься нравилось. Но мама часто говорила об этом, а Нора про себя думала. И играла. Каждый день играла... — Так какого лешего, — вспылила Марите, — возишься тут с этими дурацкими бумажками? — Тебе надо в музыкальное училище, — посоветовала Людмила Афанасьевна. — Я не могу туда! Не могу! — Нора старалась удержаться, не расплакаться. — Я играть не могу. Пальцы отморожены. Вслух это было еще страшнее. Будто приговор, после которого уже ничего нельзя изменить. Они молчали. Значит, тоже понимают... — Что ж, — с деланным спокойствием заговорила Марите, — не пианисты тоже живут. — Будешь учиться чему-нибудь другому, — поддержала ее Людмила Афанасьевна. — А я не хочу другому! — Нора понимала, что опять говорит слишком громко, резко, но не могла сдержаться. — Я не хочу другому. Людмила Афанасьевна покачала головой. — Все-таки попробуй. В первую очередь тебе надо кончить среднюю школу. — Не могу... — Нора старалась говорить тихо, но от этого голос только больше дрожал. — Отец тоже говорит про школу. И тетя Люба. — Если не хочешь в обычную, пойдешь в вечернюю. — Я ни в какую не могу! — Норе обидно, что они не понимают. — Зачем туда идти? Чтобы знать, сколько "а" плюс "b" в квадрате? Что из того, что моя мама кончила консерваторию, знала французский и немецкий язык. А тот, который ее угнал, может, еле умел расписаться. Но у него, в руках был автомат. И это все! Автомат! — Ей вдруг стало неловко за свой крик. Будто услышала его со стороны. — Извините... Людмила Афанасьевна, кажется, не расслышала. Уставилась на какую-то букву на машинке. А Марите казалась даже довольной. — Наконец заговорила как живая. Хотя неумные слова, зато нормальным голосом. А то всегда покорно, тихо. Людмила Афанасьевна вздохнула: — Жизнь научила. — Не жизнь, а Гитлер. Теперь надо отвыкать от такого унижительного тона. — Отвыкнет. Когда совсем вернется к жизни. Говорят о ней, будто ее самой тут нет... Опять принялись печатать. А Нора как раз хотела, чтобы еще говорили об этом. Она бы им рассказала, как ей стыдно, что знает меньше всех. А слова "незаконченное среднее" в анкете все время помнит, даже видит эту строчку. Но пойти в школу, опять только учиться, будто ничего не было... — Научись печатать на машинке, — снова заговорила Марите. Людмила Афанасьевна возразила: — Зачем ей машинка, если она музыкант? — Хотела быть музыкантом. А раз не может — должна приобрести другую специальность. — А я не хочу другую! Марите хмыкнула: — Думаешь, я так уж мечтала быть машинисткой? Но когда отец туберкулезник, а есть еще три едока, которых надо накормить, и шесть пар рук и ног, которые надо одеть и обуть, — выбирать не приходится. А вздохи о неосуществленной мечте — это только в восемнадцать лет. Потом проходит. — Мне еще нет восемнадцати... Марите улыбнулась. — Значит, ты этим переболеешь в шестнадцать. Ты же у нас вообще ранняя. Нора молчала. И Марите слышала эту тишину. — Если я сейчас заохаю: бедняжка, какая ты несчастная, — будет лучше? Нора пожала плечами. — Нет, хуже. И теперь, и, главное, потом. Когда жизнь у тебя наладится и про сегодняшний наш разговор даже думать забудешь, эти мои слова: "Какая ты несчастная", — запомнишь. На всю жизнь. И чуть какая неприятность — вспомнишь. И жалеть себя будешь — какая несчастная! "Даже Марите вот говорила". А ты счастливая. Понимаешь, счастливая, что в этом пекле жива осталась. Нора хотела сказать, что другие же остались живы и без такого пекла, но промолчала. Чтобы Марите не подумала, будто это упрёк. Да и правда ведь — она осталась. А мама, бабушка, Юдита и еще очень много других... Конечно, она счастливая! Но почему не чувствует этого? Ведь счастливый человек должен радоваться, а она вот... И Нора хотела вспомнить, как было до войны, когда она жила дома. Конечно, была счастливая, а кажется, ничего особенного не чувствовала. Ходила в школу, на уроки музыки. И совсем не понимала, что счастливая. Даже не думала об этом. — И все-таки тебе надо учиться музыке, — опять заговорила Людмила Афанасьевна. — Не сможешь выступать, будешь учительницей музыки. — Я?! — Норе показалось, что Людмила Афанасьевна это сказала о ком-то другом, кто может, как учительница Статкувене, как мама, учить других. Нора покачала головой. Вернулся товарищ Астраускас. — Это надо срочно отнести в Народный Комиссариат просвещения. — Он протянул ей две бумаги. Марите с Людмилой Афанасьевой опять принялись стучать на своих машинках. Будто и не было только что разговора о музыке, будто эти металлические дятлы тут долбят беспрерывно. Все клюют, клюют. Даже на лестнице Нора еще слышала их быстрый перестук.

Сегодня она идет в кино. Нора весь день помнит об этом. Словно боится отпустить от себя это необычное: она идет в кино! Она, та самая, которая пряталась в погребках, лежала в лесной яме, боялась, чтобы не убили. А теперь — в кино! Утром, когда Марите, снимая с машинки колпак, неожиданно предложила: "Пойдем сегодня в кино", — Нора даже не сразу поняла. Но Марите продолжала, как о совсем обычном: "Фильм трофейный, "Девушка моей мечты", с Мариной Рокк". "Нет-нет, что вы", — тихо ответила Нора. "И денег не будет стоить. Знакомая кассирша там работает". "Я не поэтому..." Но Марите, кажется, не слушала. "В журнале показывают наш субботник. Представляешь, пойдет какой-нибудь кавалер посмотреть, что это за девушка его мечты, а увидит нас с тобой". И все равно Нора не могла понять, как это она пойдет в кино. Сидеть в кинозале, конечно, хорошо. Медленно гаснет свет. Оживает экран. Звучит музыка. Красивые артисты. Но как это... пойти в кино?.. Может, посмотреть только журнал, где показывают их субботник? Нора хотела, чтобы день еще тянулся дольше. Чтобы Марите сама сказала — они не пойдут. Но Марите молчала. И Нора уговаривала себя, что посмотрит только журнал. Все равно было неловко перед мамой. Отец — с тетей Любой, а сама она идет в кино. И Нора это сказала Марите. "А кто, по-твоему, те, что ходят? — спросила Марите. — В кино же каждый день бывают люди". Нора пожала плечами. "Они тоже потеряли своих близких — на фронте, здесь. Но помнить и даже скорбеть еще не значит самой не жить. И люди ходят в кино. Потому что они живые! И ты тоже должна быть как все". "Хорошо..." И все-таки Норе было очень странно, что она пойдет в кино... — Давай съедим по коммерческому пирожку, — предложила Марите у кинотеатра и подала продавщице червонец. — Два, пожалуйста. — Я вам завтра верну. — Нора покраснела, что у нее нет денег. Но после истории со щеткой тетя Люба велела денег с собой не носить. Нора жевала вкусный, с ливером, пирожок. А с нарисованной афиши в витрине ей улыбались огромные коричневые губы с присохшим поперек волосом от кисти и непомерно большие глаза. Это и есть Марика Рокк? В кассовом вестибюле Марите не встала в очередь, а сказала что-то контролерше и прошла. Нора поспешила за ней. Марите постучалась в маленькую дверь кассы. — Аня, это я. Дверь приоткрылась, и в ней показалась седая голова. — Здравствуй. Как видишь, я явилась. Нора удивилась, что Марите говорит этой седой женщине "ты". Но женщина, кажется, не обиделась. Устало спросила: — Одна? — Нет, вдвоем. Седая протянула Марите бумажку, на которой было написано: "8 ряд, 3, 4 места". — Спасибо. — И Марите закрыла дверь. — А если на эти места кто-нибудь купит билеты? — забеспокоилась Нора. — Раз Аня их дала нам, то не продаст. Да и, кажется, их вообще не продают. Они директорские или отдела культуры. Лестницу Нора сразу узнала. Но теперь она казалась ниже. А в фойе вместо портретов артистов висели большие плакаты: "Все для фронта", "Родина зовет". Зал тот самый. Только потолок в сырых потеках. И на стенах краска лупится. — Крыша прохудилась, — объяснила Марите. — В последних рядах в дождь надо сидеть под зонтиком. Между прочим, — продолжала она, — эта Аня была в концлагере. Только бежала. — Из концлагеря?! — Нору поразило это слово здесь, в кино. — Когда перевозили в другой лагерь. Умудрилась в полу теплушки вырвать несколько досок и прыгнуть вниз. — Она?! — Нора не могла себе представить, что эта седая голова в двери кассы и худая рука, протянувшая Марите бумажку... что они кинулись вниз, на шпалы... под грохот колес... В зале стал медленно гаснуть свет. Как обычно... Она же в кино... На экране появились солдаты. Бегом перетаскивают орудия. Стреляют. И в небе рядом с фашистскими самолетами рвутся белые комки дыма. От одного самолета потянулся черный шлейф. Самолет стал падать, растягивая этот шлейф. До самой земли тянул, пока не скрылся за лесом. Взрыв! В зале заплодировали. Нора удивилась: раньше в кино не хлопали, только на концертах и в театре. Окопы. Солдаты выпрыгивают, бегут. Рядом рвутся снаряды, земля выбрасывает огромные черные фонтаны комьев. Одни солдаты падают, другие все равно бегут, что-то кричат. А музыка громкая, полна драматизма. Вдруг стало очень тихо. Небо чистое-чистое. Ивы, склонившись над прудом, смотрят в него, будто сияется что-то увидеть на дне. Поле. Кольшутся ромашки. На одну села бабочка. Снова вспорхнула. И опять грохот. Едут танки, обтыканные ветками, молодыми березками. А на танках солдаты. Сидят, стоят. Вдруг Норе почудилось, что проехал Илико. Но

пока она спохватилась разглядеть, уже двигались другие танки с другими солдатами. Нора старалась поспевать смотреть на их лица, искала Витю, Николая. Других, которые приходили в первый вечер к дедку. Но все были незнакомые... Марите толкнула ее в бок. Уже показывают город. Развалины. Кто-то на них копошится. Проходят с носилками. Это же их субботник! Но откуда песня? Они ведь не пели. И никого нельзя разглядеть. Только место похожее... Нора даже не успела сообразить, где же она сама, как стали показывать другую улицу. Тоже в развалинах. Но там работают солдаты. И поют. То есть теперь Нора догадалась, что это поет мужской хор. Песня оборвалась на крещендо. Загорелся свет. И все исчезло: улица, развалины, песня. — Да... — протянула Марите. — В Голливуд после такого дебюта не пригласят. — Я никого не успела увидеть, — призналась Нора. — Я тоже. А все старались улыбаться. Марите сняла перчатки. Распустила волосы... — Ладно. — Она вовсе не огорчена. — Себя не увидели, будем смотреть Марику Рокк. Она хорошо танцует. И правда, как только погас свет, появилась живая Марика Рокк. Совсем не похожая на ту, что нарисована на афише. Красивая, весело поет. И ссорится смешно. Даже платье в порыве капризного гнева забыла надеть — влезла в шубу в одном белье. А на вокзале, ожидая носильщика, подбоченилась, шуба раскрылась, и носильщик стал в удивлении пялить на нее глаза. А в зале засмеялись. Когда Нора увидела ее в поезде с уже запахнутой шубой, вдруг вспомнила седую кассиршу. Стала представлять себе, как она вместе с другими, которых везли в теплушке, ночью, в темноте силится выдрать в полу доску. Наконец снизу врывается ветер. Громче становится стук колес. Шпалы мелькают совсем близко. А они выдирают еще одну доску. И третью. Чтобы пролезть. Броситься вниз. Иначе... Их же везут в концлагерь. Даже стук предупреждает: "В конц-ла-герь. Конц-ла-герь..." Шпалы совсем рядом. И колеса. А все равно эта седая женщина легла у самого отверстия. Замурилась и... выпала. Крепко прижалась к шпалам. Вагоны грохотали над самой головой. Только бы не задели. Она почти втиснулась в шпалы. А колеса рядом, совсем рядом... Зрители засмеялись. И Нора очнулась — она же в кино! Марика Рокк уже в маленьком домике, в горах. Там живут двое мужчин. Она опять весело поет. А у Норы все еще колотится сердце. Но Марика непонятно почему удирает из этого хорошего, далекого от дороги и опасности домика. В мужском костюме, на чужом мотоцикле. Раздается взрыв. Нора вздрагивает, и ей вовсе не смешно, что Марику взрывной волной бросает далеко в снег. Она проваливается, только ноги торчат. Наконец выкарабкивается и пешком, в разорванном костюме возвращается назад. Лезет в окно. А Петер думает, что это вор и хватает пистолет. Только бы не выстрелил! Слава богу! И Норе стало спокойно. Теперь ей уже все нравится: как Марика танцует, как поет — то в японском костюме, то в цыганском. Неожиданно зажегся свет. Исчезла музыка, стихло веселье. Опять был только белый немой квадрат экрана, обычное полотно со швом посередине. — Что ж, — с горькой усмешкой говорит Марите. — Кино окончено. Вернемся к реальной жизни и пойдем отоваривать карточки. — А в кассу разве не зайдём? — И быстро придумала: — Надо же поблагодарить за места. — Зайди одна. Я в магазин опоздаю. Нора постучала, и дверь кассы приоткрылась. Увидев ее, кассирша задвинула ящик с деньгами. — Большое спасибо за места. — Пожалуйста, не за что. Нора заранее не придумала, что еще скажет, и теперь молчала. Смотрела на эти седые волосы, грустные, очень усталые глаза. На родинку. И тихо повторила: — Большое спасибо. От Марите тоже. — Да не за что. Я ж ей говорила — пусть приходит. — А когда? — ухватила Нора. — Когда хочет. — А мне... можно с ней? Мы вместе работаем. Кассирша посмотрела на нее. Будто только теперь увидела. — Так это она о тебе рассказывала, что ты пряталась? Нора кивнула. — Да... Досталось тебе... — Но вам же было страшнее! — вырвалось у Норы. Тетя Аня не спросила, откуда она знает. Только вздохнула. — Не то слово... — А вам тоже говорят, что надо забыть? — неожиданно спросила Нора. — Забыть?! — Да... — Нора спохватилась, что она уже внутри, в кассе. А даже не заметила, как вошла. — Мне говорят, что не надо все время помнить, говорить... — Забыть могут только те, кому нечего помнить. Или не хотят. Живут прежней жизнью. А у кого жизнь осталась там... — Где? — В лесу... Где расстреливали. Когда я туда приезжаю... — Вы туда ездите? — Нора так удивилась, что даже перебила ее. — Конечно. Норе послышался упрек. Она вот в кино ходила... — Я тоже хочу туда. Можно?.. — Почему ж нет... Туда пропуска не нужны, не кино. Всего лишь лес. Но лес мертвых, — она вздохнула, — которых теперь больше, чем живых. Норе это однажды и самой показалось. Когда она стала вспоминать всех своих довоенных знакомых... — Закрой дверь, — попросила тетя Аня. — Сквозняк. Нора закрыла, и ей показалось, что они в маленьком укрытии. Лежать тут можно будет только свернувшись.



Тетя Аня выдвинула ящик с деньгами. Там стопками были сложены червонцы, рубли. — Еще эти рапортчики заполняй, — сказала она недовольно и стала что-то писать. Наверно, сколько каких билетов продано. Норе бы нравилось так писать. Потом умножить, сложить. Совсем как школьная задача, только для маленьких. Можно, я вам помогу? — Тут помогать нечего. — И тетя Аня принялась умножать. Только не как их кассирша, на счетах, а на бумажке. Даже вслух. — Восемью три — двадцать четыре... Восемью девять... Нора тоже умножала. Но про себя, в уме. Она не спит. Сидит, даже полулежит в высоком кресле-качалке, вытянув ноги на приставленный стул, накрытая большим тулупом, который тетя Аня принесла от соседней. Спать совсем не хочется, хотя тетя Аня давно похрапывает на своем матрасе в углу. Такая, спящая, с этим громким храпом, она кажется Норе совсем другой. И Нора старается не слышать этот храп, чтобы тетя Аня была такой, как весь вечер, когда слушала, сама рассказывала... Сперва, когда они вышли из кассы, Нора хотела ее только проводить, но тетя Аня предложила зайти. Комната Норе показалась очень большой. Наверно, потому, что почти пустая — только старый матрас на полу, стол, один стул и кресло-качалка. Тетя Аня принесла чайник, две чашки (они так и остались стоять на столе рядом, как две подружки), начатую пачечку сахара. Нора не помнит, когда начала рассказывать. Как увели маму с бабушкой. Как она пряталась у мельника, как ночью пробежала мимо трех повешенных... Олесной яме рассказала. Тетя Аня ни разу не удивилась, как другие: "Как ты могла это вынести?". Не заохала. Просто слушала. Только когда Нора, рассказав о Петронеле, сразу начала о Стрелисах, спросила: — А почему ты от нее ушла? И Нора впервые ответила не то, что другим: "Там больше нельзя было оставаться", — а объяснила: — Петронеле на исповеди призналась ксендзу, что прячет меня. А он... Нет, не выдал немцам, а то бы и Петронеле забрали. Он подослал соседку, чтобы та велела мне убраться. Иначе они сами... староста, полицаи... Тетя Аня молчала. — Но Петронеле не виновата! Она же не знала, что ксендз такой... Не понимала, почему я так внезапно ухожу. Уговаривала остаться. Тетя Аня кивнула. И Нора дальше рассказывала. Как опять искала пристанища. Как ее долго не впускали. Пока не постучалась к Стрелисам... И о Винцукасе рассказала. И о Стасе. И как Антанас вез ее в санях к деду. Тетя Аня все слушала. Ни разу не напомнила, что чай остыл, что, наверно, скоро уже комендантский час. Нора это сама понимала, но не могла остановиться. Казалось, она все это рассказывает в первый раз... Тетя Аня даже не подняла головы, когда за стеной по радио стали бить кремлевские куранты. Двенадцать. А Нора теперь рассказывала, как вернулась. Как встретила с отцом. И про костыли сказала. И про тетю Любу. Даже про свое ночное дежурство — как сидела у пианино... Тетя Аня молчала. Смотрела на крохотные таблеточки сахара и даже не моргала. Наконец произнесла: — Я ведь тоже не всегда была кассиршей... Нора ждала, чтобы она продолжила. — Акушеркой была. Принимала детей, новорожденных. — Так почему вы теперь?... — Нора не знала, можно ли сказать "не принимаете". Тетя Аня долго молчала. Потом подняла голову, посмотрела на нее. Будто раздумывая, поймет ли. И заговорила: — Когда я вернулась сюда, немцев уже не было. В первое утро даже не знала, куда идти. Как будто в другой город попала. Знакомый, но чужой — зайти некуда... И я побрела к лесу. Где их расстреляли. Но... живые там не остаются. И я вернулась в город. Побрела по улицам. Сама не заметила, как оказалась на набережной, где до войны работала в родильном доме. Здание осталось таким же. Но... — тетя Аня помолчала. — Сперва я подумала — мне это снится. Из двери вышли двое — женщина и военный. У него на руках лежал завернутый в одеяло... Так всегда заворачивают при выписке. Я остолбенела — рожают?! Опять, все равно рожают? Они прошли мимо меня, улыбаясь... — Наверно, были рады. — А ты знаешь, что детей увозили в крематорий в первую очередь? Плачущих, кричащих бросали в кузова машин. — Помолчав, тетя Аня устало продолжила: — Каждый раз, на каждой детской акции — так это называли — мне казалось, что их вырывают не только у матерей. У меня тоже... Я же их принимала, вызывала первый крик. Чтобы в легкие попал воздух. Чтобы они жили! А теперь они кричали в ужасе, что их убивают. Они знали, что убивают... И может, в этом крике был не только страх, но, и тщетная надежда, что, если они будут очень надрывно кричать, их вернут матерям... Тетя Аня умолкла. И низко, очень низко наклонила голову. — Однажды во время детской акции забрали двойню. — Она снова помолчала, будто вспоминая. — А я как раз в свое последнее дежурство, это было в последнюю предвоенную ночь, тоже приняла двойню. Мальчишек. Обработала их, запеленала, хочу отправить в детскую, а они плачут. Даже заходятся, синеют. Собрались врачи, сестры. Осматриваем — ничего. А кричат. И тут санитарка, старенькая такая у нас была, догадалась: "А вы попробуйте их

запеленать вместе. Они ж привыкли чувствовать друг друга". — У тети Ани глаза от воспоминаний чуть потеплели. — И правда, сразу умолкли. И Нора представила себе две крохотные головки в одинаковых чепчиках совсем рядом. Но тетя Аня продолжала: — В лагере тоже была двойня. Не они, другие — Миша и Гриша. Когда их забирали, они уцепились за мать: "Мамочка, не отдавай нас! Мы будем хорошими, только не отдавай!" И она не отдавала... Силой вырвали. Мишу один ээсовец. Гришеньку — другой. И потащили. Они отбивались, вырывались, тоже посинели от крика... И вдруг я вспомнила нашу санитарку, ее совет. Хотела детям показать, чтобы они были вместе, рядом. Может, будет не так страшно. Но не могла поднять руки... Еще долго потом была как парализованная. И словно глухая — не слышу, что говорят, как бьют в лагерный гонг. Все время в ушах этот детский крик. Даже ночью, во сне. И теперь иногда тоже... Крик и шум моторов. Их запускали, чтобы заглушить плач ребят, крики матерей... Иногда музыка играла... — А этих... Гришу с Мишей... увезли? — Не только их... Сколько матерей тогда лишились рассудка. Такая Ася была. Молодая, красивая. Увидела дым из трубы крематория и как закричит: "Это от моей Адочки!.." А Лиза — ее совсем недавно привезли в лагерь — вдруг подошла к нам, стала обводить всех взглядом и каждому повторять: "Это Боренька. Они жгут моего Бореньку..." Ждала, что мы, может, скажем что-нибудь другое. Но никто не мог этого... сказать другое... Она выбежала из барака и бросилась на проволоку. Нору зазнобило. А тетя Аня все равно продолжала: — Теперь вот опять рожают... Нет, я в этом помогать не могу. Лучше буду кассиршей. Мне протягивают деньги, я даю билет. Идите, смотрите и, если можете, отвлекайтесь. — А вы можете... отвлечься? — Нет. Тетя Аня это сказала очень сурово, и Нора опять почувствовала себя виноватой, что пошла сегодня в кино. Больше тетя Аня ничего не говорила. Спихватилась, что уже поздно, пора спать. Принесла Норе соседский тулуп, придвинула ей к креслу-качалке стул. — Другого у меня ничего нет. — Спасибо, ничего не нужно. Сама она ушла в угол, где на полу ее матрас, и легла. Долго ворочалась, не засыпала, но больше не заговаривала. Теперь спит. Похрапывает. Только иногда внезапно приумолкает, чтобы глубоко, будто выталкивая всю скопившуюся боль, вздохнуть. И снова дышит ровно, с тем же незнакомым похрапыванием.

## Глава X

Когда издали завиднелся лес, Нора совсем не обратила на него внимания — они все время шли вдоль холмистых, густо заросших деревьями и кустами склонов, вдоль перелесков. Но тетя Аня вдруг сказала: — Это там... Нора вздрогнула. Будто только теперь поняла, что она и правда идет туда, в тот самый лес... — Их вели по этой дороге... — продолжала тетя Аня. — Они смотрели на эти же кусты... И на тот придорожный столбик. Он отсчитал самый последний их километр... По этой дороге... И Нора стала чувствовать каждый свой шаг, каждое прикосновение ноги к гравию, которого тогда касалась мамина нога. Чудилось, она ступает след в след... Тетя Аня тихо вздохнула. — Иногда хочется попросить — закройте эту дорогу. Пусть по ней не ходят, не ездят... Чтобы колеса машин не вдавливали в землю, не увозили отсюда и не распыляли следы последних шагов. Пусть хоть это останется. Ведь ничего другого нет. Даже могил. Одни пустые ямы... — Как это... пустые? — Перед отступлением оккупанты успели почти всех сжечь. — Кого?! — Нора с трудом заставила себя вымолвить это слово: — Сжечь?.. — Расстрелянных... Разрыли все ямы и оттуда — в костер... Норе казалось, что это какая-то другая, чужая женщина пугает ее. Но голос был тети Ани. — Боялись оставить даже мертвых свидетелей... Пригнали заключенных, и те под дулом автоматов целыми днями перетаскивали на носилках мертвецов. Из ямы — в костер. Нора это словно увидела. Как несут... Свисает, будто размахивая на ходу, мертвая рука. Торчат худые босые ноги. Несут... Такие же люди, только живые... Пока живые... И за то, чтобы пока ходить, видеть, чтобы еще не лежать такими вот на носилках, они несут к костру... А огонь обхватывает, взвизгивает. Ему все равно, что сжигать... — Говорят, один узнал свою мать, — безжалостно продолжала тетя Аня. — Так закричал, что охранник его сразу пристрелил. Нора сама хотела закричать. Зажмуриться, заткнуть уши, только не слышать больше, не видеть. — Как они могли?... — Кто

не мог, сам получал пулю в затылок. И тут же оказывался в костре. И каждый это знал... — Все равно... — Как видно, не все равно... — Тетя Аня умолкла. Нора очень хотела, чтобы она больше ничего не говорила. Но она продолжала: — Особенно, если надеялись убежать. Они по ночам копали подземный лаз из бункера, в котором их держали. — И убежали? Тетя Аня кивнула. — Значит, сейчас живут?! — изумилась Нора. — Те, кого не поймали, остались живы. — Но они же помнят! — Такого, конечно, не забудешь... Тетя Аня не поняла. Нора не это хотела сказать. — Как они могут... теперь, когда больше ничего такого... помнить, что они тогда... Как они теперь могут жить? — Одного таки недавно нашли в петле. А другие... Не думаю, что это можно назвать жизнью... Они шли молча. Только мокрый гравий шуршал под ногами. — А мы с тобой разве живем? Только с виду кажется, что мы, как все — работаем, ходим, едим. Но сами все время там — я в лагере, ты — в своих подвалах. Это Нора знает. — Но мы же ничего такого, что они, не делали. — А ты уверена, что тогда — только хорошенько вспомни, как было жутко, что сейчас эсэсовец нацелит на тебя автомат, выстрелит! — ты уверена, что будь ты тогда на их месте, не делала бы того же? Ведь главное было, чтобы в тебя не выстрелили. Сейчас, сию минуту! Пусть потом, позже, когда-нибудь. Только не сейчас! К тому же не забывай: они сжигали трупы тех, кого уже не вернуть... Нору зазнобило. Вернулся тогдашний страх. Она быстро оглянулась. Дорога пуста. Только две крестьянки, обычные, в платках, идут сзади. Разговаривают. — Конечно, гнилая. Кто ж так поздно копает. Говорят о картошке! Обычной картошке, которую осенью копают. Алдона тоже писала об этом. Они уже выкопали. — А раньше не позволяли, — объясняет другая. — Говорили, немцы там своих мин понатыкали. Мы ее даже не окапывали. — Какая уж она выросла... — Никудышная. А что делать? Хоть какая, а копать надо. Сперва солдаты все поле исходили, проверили. Все равно страшно было — чуть какую кругляшку увидишь, и спина со страху мокрая. Нора хотела слушать этих женщин, идти с ними. Но тетя Аня повернула налево. Вошли в лес. Это уже тот лес... А сосны такие же, как в других. С толстой корой. Мальчишки из такой любят вырезать лодочки. И корни обычные — будто огромные бугристые клешни. И шишек много. Уже по-осеннему отсыревших. Ножом Нора под елью увидела детский сандалик. Один. Расстегнутый. Тоже потемневший от сырости. Только пуговица красная. Будто земляничка. Нора стояла и пристально смотрела на этот сандалик. Она знала, что не поднимет его, не отнесет ребенку, который раньше в нем бегал... Пришел в нем сюда... — Ты чего остановилась? — спросила тетя Аня. — Там... сандалик. — Первое время тут много чего находили... — И она пошла дальше. А сандалик остался под елью. Расстегнутый, с красной, как земляничка, пуговкой. Нора увидела за деревьями яму. Большую, как котлован. А вокруг редкой, словно разорванной цепочкой стоят люди. — Из этой успели сжечь всех, — тихо сказала тетя Аня. Яма совсем пустая. Местами пробиваются травинки. Это здесь! Вот так же у края ямы стояла... Нет, про маму она боялась так подумать. И все-таки представила себе... Неужели мама, ее мама Ида — красивая, улыбающаяся, которая играла на рояле, — упала сюда, в этот песок?... Нора больно сжала кулаки — только бы не закричать, не броситься вниз. — Эта еще небольшая, — обычным голосом объяснял сзади какой-то мужчина. — Есть и другие, куда они по десять тысяч... — Пошли! — Тетя Аня дернула ее за рукав. И зло бросила в сторону объясняющего: — Нельзя об этом одними цифрами. Нора побрела за тетей Аней. И все равно казалось, что стоит там, у ямы. Она понимала, что идет. Вот наступила на ветку. Обычную, набрякшую от сырости ветку. Она идет по лесу. Но по этому лесу... Из-за дерева вышел мужчина. Он еще издали протягивал им что-то на ладони. — Вот что осталось от моей доченьки... Нора не сразу догадалась, что меховой комок, который он держал, — это помпон от детской меховой шапочки. Мех на ладони дрожал. Рука тоже. — Это все, что осталось от моей Танечки... — Он смотрел то на тетю Аню, то на Нору. Будто ждал, даже просил, чтобы они что-нибудь сказали. Чтобы поняли. Они понимали. Но что сказать? И он опять повторил: — Все, что осталось... И побрел. С детским помпоном на ладони, низко опустив голову. Будто искал еще чего-нибудь. Они тоже пошли. Теперь и Нора смотрела себе под ноги... — Там вот моих... — тихо сказала тетя Аня. Опять яма. Очень большая. И глубже той, первой. — Откуда вы знаете? — Еще когда в первый раз пришла сюда... У этой вот ямы сердце будто подсказало. Чудилось, тут что-то осталось от них. В воздухе, на этих деревьях. Может, их взгляд... Но было! Еще и теперь иногда это чувствую... А Нора ничего не чувствовала. У той ямы казалось — может, мама там... У этой — может, здесь... Как это почувствовать? Ее стало лихорадить. Глаза смотрели на яму, а руки тряслись. И ноги. И все внутри. Она никак не могла унять эту дрожь, остановить ее. Тетя Аня

легонько дотронулась до ее плеча. — Иди. В первый раз всегда так. Уходи отсюда. Нора послушно побрела. За женщиной, которая, казалось, тоже что-то ищет. Вдали, между деревьями, мелькнул мужчина. Может, тот самый, с меховым помпоном в руке? И опять цепочка людей. Вокруг другой ямы. Вымощенной. — В этом бункере держали заключенных, которые жгли трупы. — Нора снова услышала тот самый голос. — До войны он был предназначен для хранения горючего. Почему он все время говорит о другом? Ведь здесь стреляли в людей! Их убили! Потом откопали эти огромные могилы и всех сожгли. Чтобы совсем ничего не осталось... Но они же были! Были! Нора хотела кричать об этом. Ему, всем. Они были! Только теперь этого не видно. Потому что ямы совсем пустые... И ее пронзило: а ведь и от нее так — могло ничего не остаться... Пустая яма... Ничего... — Ей плохо! — Нора почувствовала, как кто-то больно обхватил ее за плечи. Мелькнуло: значит, живая, если больно. — Ничего... — она старалась устоять. Напрягла ноги. Чтобы держали. — Вам помочь? — Кажется, это все тот же голос. — Спасибо... Я сама... — И Нора шагнула. Казалось, сейчас упадет, ноги не слушаются, норовят ступить куда-то в сторону. И деревья качаются. Но она заставляла себя идти прямо. И шла. Сперва ноги заплетались, потом стали послушнее. Но лес все равно не кончался. Опять яма. И люди вокруг нее. Нора быстро свернула в сторону. Старалась не смотреть туда, не думать. Видеть только стволы деревьев, кору, сучья. Но вдали опять люди... в большом кругу. Значит, и там яма... Нора метнулась в другую сторону. Побежала. Казалось, эти ямы везде. Окружают ее, обступают. Она побежала, не разбирая дороги, спотыкаясь. Ветки елей цеплялись, будто хотели задержать ее, не выпустить. Она отбивалась, вырывалась, и бежала, бежала... — Больно ушиблись? Нора ничего не понимала. Падая, успела подумать, что это от пули. Она уже убита. Все... Темно... А теперь опять светло. И она вовсе не в яме, а на земле. Над ней стоит... Витя? Нет, не в красноармейской форме. Но глаза тоже голубые. — Больно ушиблись? Нора мотнула головой. — Тогда вставайте. Нора посмотрела на свои разодранные на коленях чулки, и ей стало стыдно. — Больно? — Он неожиданно дернул ее ногу так, что Нора вскрикнула. — Потерпите немного. — Он еще раз дернул. Она хотела терпеть, но слезы сами выступили на глазах. Он отвернулся. Будто не замечает. — А теперь постарайтесь встать. — Он это сказал совсем как Петронеле. Взял ее под руку и стал приподнимать. Нора чувствовала его руку, плечо — напряженные, сильные. — Обопритесь о меня. Она посмотрела на свои измазанные ладони, грязный жакет. — Вы же испачкаетесь. — Ничего, вода не по карточкам. — И он опять заговорил заботливо, как тогда Петронеле: — Давайте доберемся до той вот сосны. Постарайтесь, пожалуйста. И Нора старалась, хотя было очень больно. — Теперь отдохнем. Потом опять пойдем. Надо выбраться на дорогу. А там остановим машину, и она вас отвезет в город. — Да-да, в город! — обрадовалась Нора. — Там все живые! Он посмотрел на нее, но ничего не сказал. Только стал еще крепче держать. — Дорога уже недалеко, потерпите. Нора терпела, хотя уже совсем не могла ступить на эту ногу. Он это понимал. Вел, где ровнее, раздвигая ветки. Теперь они были добрые, легко расступались. Даже помахивали ей вслед. — Уже осталось совсем немного... И правда, послышался шум машин. Вскоре появилась и сама дорога. Будто деревьям надоело оттеснять ее от леса, и они оставили ее тут. Только сами остались сторожить. По обеим сторонам. — Вы посидите. — Он помог Норе сесть на пеню, а сам ловко перепрыгнул через кювет и вышел на дорогу. Нора смотрела, как он стоит. Ветер тербит его волосы, а он время от времени поворачивается к ней и ободряюще улыбается. Мимо едут грузовики, тяжело урча. Но он их не останавливает. Наконец поднял руку — из-за поворота появилась военная легковушка. Но она промчалась мимо, не останавливаясь. Брезентовая крыша трепыхалась на ветру, будто показывая, что очень спешат. Он опустил руку, грузовики пропускал мимо. Нора хотела ему сказать, что может поехать на чем угодно, но ей было хорошо так сидеть и смотреть, как ветер тербит его волосы. И ждать, когда он обернется. Из-за поворота опять выехала военная легковушка. Остановилась. Парень что-то сказал шоферу и сразу зашел к ней. — Вы сможете встать? Ступать стало еще больней. У самого кювета — только Нора хотела спуститься, чтобы потом выкарабкаться, — он подхватил ее на руки и перенес. Она еле успела ухватиться за его упругую шею. Стало совсем стыдно — и что шофер видит, как парень держит ее на руках, и что она обхватила его шею... — Сперва больную ногу... — Он так и донес ее до машины. Шофер неожиданно дернул с места, и Нора едва успела, высунувшись, крикнуть: — Большое спасибо! Он помахал рукой и сразу повернул обратно. Будто и не нес ее только что на руках... А машина ехала быстро. И Норе казалось — не она отдаляется от этих огромных ям, а

они отстают. Остаются там, в лесу... А она опять едет в город, где папа, тетя Люба, Марите. Где все, все!

## Глава XI

Теперь Нора и сама понимает, что зря так испугалась. Это же померещилось со страху, что ямы обступают. А уж ветки, конечно, ее не хватало — сама влетела в густой ельник. Она об этом никому не расскажет. Совсем никому... Тетя Люба и так говорит, что она слишком откровенна со всеми. Зачем чужим людям все знать о ней? А Нора не понимает, почему им нельзя знать. Отец ее оправдывает — теперешняя разговорчивость, видно, результат долгого молчания в укрытиях. Она никогда, даже в детстве, не была болтуньей. А Норе кажется, что она всегда была такой же. И маме все рассказывала, и Юдите. Правда, папе меньше. Потому что он всегда был занят. Теперь тетя Люба уже не сможет упрекнуть ее. Почему упала, никому не проговорится. Если бы знала, что они с отцом так расстроятся, ничего бы им не сказала. Но само так получилось. Когда она вошла и отец увидел, как она хромает, он очень испугался. Стал осматривать ногу. Тоже дернул, только еще сильнее, чем тот парень в лесу. Тетя Люба смыла с коленок грязь, и он по-докторски безжалостно помазал их йодом. Так жгло, что Нора хотела кричать, но стеснялась Алика с Татой. Они стояли рядом и очень сочувственно глазели. После каждого мазка йодом изо всех сил дули на колено и, переводя дыхание, участливо спрашивали: — Уже не так больно? Нора отворачивалась, чтобы они не видели, как слезы сами выступают. А когда отец спросил, где она упала, Нора ответила: — В лесу. Где расстреливали. Сперва, кажется, ни отец, ни тетя Люба на это не обратили внимания. Молча бинтовали ногу. Тетя Люба ей постелила на носилках (Алик радовался, что будет спать по-солдатски, на полу), сделала противостолбнячный укол, унесла на кухню сушить жакет. Нора легла. Она лежала с закрытыми глазами, удобно вытянув ногу. Было хорошо чувствовать, что она больше не болит. Но неожиданно показалось, что в комнате слишком тихо. Будто никого нет. Открывать глаза не хотелось. Она только чуть приподняла веки. Алика с Татой и правда нет. Тетя Люба сидит на диване и молча перебирает чулки. Наверно, ищет для нее другую пару вместо порванной. Отец тоже молчит. Курит. Раньше, дома, он не курил. И Нора все еще не может привыкнуть к этому. Каждый раз, когда он достает папиросу, она хочет попросить, чтобы не закуривал, чтобы был такой, как раньше, дома. Сейчас он тоже курит. И хмуро молчит. Она помнит такое его молчание! Мама это называла: "Папа расстроен". А бабушка говорила: "Сердится". Норе становилось не по себе — может, на нее? Старалась тихо сидеть в своей комнате. А мама, наоборот, заходила к нему в кабинет, разговаривала с ним. Или звонила кому-нибудь из знакомых, приглашала в гости. И папа опять становился обычным, разговорчивым. Но то было раньше, дома. А здесь Нора его ни разу таким не видела. Она и забыла об этом его хмуром молчании. Тетя Люба, может, даже не знает, что он бывает таким. Потому что никогда, придя домой, не улыбается ему первой, как мама. Наоборот, это он улыбается и смотрит, не грустная ли тетя Люба. Нора снова глянула. Да, хмурый. На кого он сердится? Когда она пришла, он не был таким. И когда ногу осматривал, и когда бинтовал. Волновался. Спрашивал, где упала. Неужели из-за того, что она была в т о м лесу? Нора быстро глянула на тетю Любу. Сидит на диване. Неподвижно, застыв с чулком в руке. Уставилась куда-то в пол и смотрит не моргая. Думает о чем-то. И даже, кажется, забыла, не чувствует, что и они с папой тут, в комнате. Папа тоже будто один. Отгородился дымком папиросы и, видно, мыслями далеко отсюда... Вдруг Норе почудилось, что они... совсем чужие — отец и тетя Люба. Каждый сам, отдельно. И у каждого, когда они вот так молчат, в мыслях что-то свое... Ей даже захотелось, чтобы они заговорили. Сейчас, сразу. Чтобы были обычными, как каждый день. Но они молчали. Может... Догадка мелькнула и сразу скрылась. Нора еле успела ухватить ее. Может, они... вспоминают? Каждый свою прежнюю жизнь. Даже показалось, что отец стал более похожим на того, прежнего. Может быть, правда, вспоминает? Дом, свой кабинет. Или столовую. Мама наливает ему кофе. А напротив сидит бабушка. И она, Нора. Тогдашняя... Но мамы нет! Нора вдруг вспомнила лес, пустые ямы. Мамы нигде, совсем нет! Она быстро, хотя

от этого опять заболела нога, отвернулась к стене. Натянула на голову одеяло. Чтобы они ничего не услышали. Мамы нет! Нет!.. — Оставь... Пусть... — Отец, видно, хотел к ней подойти, но тетя Люба его остановила. Он что-то ответил, но слишком тихо. — Ничего... — опять сказала тетя Люба. — Она должна была туда поехать. Там убили ее мать... — Но ведь совсем не окрепла еще. А это может... Что это может, Нора не расслышала: по улице загрохотали танки, а отец с тетей Любой говорили тихо. Нора старалась прислушаться, даже край одеяла над ухом приподняла, но танки очень гремели, и она не уловила ни одного слова. Только когда громохание наконец стало отдаляться, услышала голос тети Любы: — Свою мать она должна помнить... Отец молчал. Норе показалось, что это молчание тянется очень долго. Но она боялась шевельнуться, чтобы они не вспомнили о ней. Щелкнула зажигалка. Значит, опять закурил. — Разве я говорю, что не должна. Я бы сам ее туда повез. Но пока... Она и так еще вся в прошлом. — Все мы еще в прошлом... Снова стало тихо. А Нора думала... Ей казалось, что они... Раз поженились... Она же не знала, что тоже все помнят... И Марите ей вчера сказала: "Да, в людях ты не очень разбираешься. Испытай то, что ты..." Но тогда же было совсем другое! Тогда Нора знала: те, кто ее впускает, хоть ненадолго, хотя бы погреться, — хорошие. А те, которые прогоняют, — плохие. Теперь, когда говорят, что человек хороший или плохой, — то ведь совсем не поэтому. Правда, иногда Нора еще так думает — только, конечно, совсем о чужих — тогда они спрятали бы ее? Но кроме этого? Какой, например, Рагенас, Нора так и не знает. Все его хвалят, что добрый, справедливый. И правда, он первый сказал, что ордера на платки местком должен дать тем, у кого вообще ничего нет. И глазами показал на Нору. Всегда ей улыбается. Недавно советовал проверить у врача здоровье — столько пережила. Спросил, есть ли у нее дрова на зиму. А вчера специально зашел сказать, что освобождены его родные Мажейкяйские места. И Тельший, и Плунге, Тиркшляй — всего семь городов. А там, не указанная в сводке, его родная деревня Теркучяй. "Поехать бы туда, помочь бы им восстанавливаться..." Нора, конечно, могла бы спросить у кого-нибудь, какой он. Но каждый ведь ответит по-своему. Марите скажет, что он хороший. Тетя Аня, как только узнает про подпись на том документе, больше и слушать не станет. А отец объяснит, что о человеке надо иметь собственное мнение, а не чужое. Хотя сам о тете Любе говорит — и что хорошая, и что заботится о ней. Это все правда. Но... Почему она все-таки... так сразу... вышла за папу замуж? Ведь у нее был другой муж. Наверно, хороший, красивый. Любил ее. Но маму тетя Люба очень жалеет. Сегодня вот сказала, что Нора должна помнить. Может, ей неловко, что заняла мамино место? Так ведь она не виновата, что мамы нет. И отцу с ней, наверно, лучше, чем одному. И даже если бы они жили вдвоем. А про маму она часто спрашивает. Однажды, когда отца не было дома и дети играли во дворе, стала расспрашивать, какие у мамы были волосы, какие глаза. Что она любила играть? Сперва Нора отвечала неохотно. Но потом стала рассказывать. Как однажды их остановил на улице какой-то толстый дяденька и спросил, не согласится ли мама сняться для рекламы. А она только рассмеялась: "Снимайте мою дочь, она моложе". Дяденька очень удивился, что Нора ее дочь. Думал, сестренка. Мама иногда и правда была будто сестра. Дурачилась вместе с Норой, помогала придумывать для всего класса первоапрельские шутки. И никогда не ругала. Даже за тройку. И еще Нора тогда рассказала тете Любе, как мама помогала устраивать школьные вечера и сама на них играла. На последнем, в Майский праздник, играла Листа... А накануне бабушка опять начала приставать, чтобы мама пошла в парикмахерскую и сделала "настоящую прическу". У мамы волосы сами вились. Она говорила: "Я сама себе парикмахер". Но на этот раз почему-то послушалась бабушку и пошла. Вернулась совсем непохожей на себя. Будто даже не она это, а тетя с обложки журнала. Постояла у зеркала, повернула голову в одну сторону, в другую и сказала: "А теперь ликвидируем следы легкомыслия". И полезла под душ. Вечером, в школе, была причесана как обычно. Нора вспомнила тот вечер... Она знала, что лежит здесь, на этих носилках, даже чувствовала забинтованную ногу, но казалось, будто она снова там, в школе. ... Коридоры и классы пусты — все в зале. А на сцене, за роялем — мама... В своем длинном креп-жоржетовом черном платье, с бантом сзади. Чуть наклонив голову, играет. "Ракоци-марш" Листа. А Норе кажется, что она играет вместе с мамой. И пальцы так же ловко бегают по клавишам. Когда она слушает маму, ей не терпится играть так же. Сама себе обещает заниматься много, очень много. Чтобы техника была такая же. И репертуар. Тогда они для школьного вечера подготовят фортепианный дуэт. И выступят вместе... После "Ракоци-марша" маме долго аплодировали. И директор, и учителя. А когда они с мамой после концерта стояли в зале, директор подошел к

ним, поблагодарил маму и пригласил на первый вальс. Учитель истории пригласил Нору. Ей было очень неловко танцевать с ним. Ноги, казалось, сами норовят ступить не туда, куда надо. Она их переставляла напряженно, все время боясь сбиться. И еще было жарко, оттого что весь класс, конечно, смотрит на них, а завтра мальчишки будут ее дразнить. И правда, только она утром вошла в класс, уже издали увидела на своей парте бумажку. Большими буквами было написано: "Учительская невеста". Но на первом уроке, когда учительница литовского "Мадам грамотейка" устроила диктант с ударениями на дифтонгах, Нора получила записку SOS с самыми трудными словами. Она быстро проставила ударения и отправила записку обратно. После урока больше никто не вспомнил про "учительскую невесту". Резко зазвонили. Нора вздрогнула, открыла глаза. Она здесь, в этой комнате, лежит на носилках. Тетя Люба пошла открывать дверь. А Норе так не хотелось отпускать воспоминания. Она снова закрыла глаза. Попыталась вернуться в школу. Где их класс, учительская, зал. Но все исчезло. — Опять мокрые ноги? Это тетя Люба говорит ребятам каждый раз. — Я по лужам не прыгала! — сообщает Тата. Нора все еще силится вернуться в школу. Крепче зажмурилась. — Давай играть, — просит Алик. — Ты раненая, а я врач. — Хорошо... — И она окончательно открывает глаза. Когда Нора наконец пришла на работу — с перевязанной еще ногой, даже чуть прихрамывая, — ей показалось, что она тут не была очень давно. А здесь так хорошо! Может быть, что-то изменилось? Нет. Столы те же. И шкаф, и століки. Просто Марите с Людмилой Афанасьевной ей очень обрадовались. Расспрашивали. И она им рассказывала. Неудачно подвернула ногу, упала (только бы не спросили где!). Но ничего. Лежала у отца. Они ее не отпустили домой, да и ходить было так больно. Конечно, ухаживали. И тетя Люба тоже. Спрашивала, как у маленькой, что она хочет есть. Даже перед Татой было неловко. А отец по утрам первой давал читать газеты ей. Чтобы радовалась — еще один город освободили. Марите и Людмила Афанасьевна слушали, улыбались и тоже спросили (в один голос): "Больше не болит?" Потом было как каждое утро. Они принесли из отдела кадров свои машинки. Сняли чехлы. Людмила Афанасьевна свой сложила аккуратно, а Марите просто пихнула за шкаф. Сели печатать. И Нора им не рассказала, какой сильный парень нес ее на руках, и как приходила ее проведать Ядвига Стефановна. Никого не было дома, она сидела возле Норы долго. Рассказывала о сыне. Как он, маленький еще, на даче, полез на дерево и порвал матроску. Сам пришел к отцу, стянул штанишки и серьезно сказал: "Меня надо наказать". Нора хотела рассказать Ядвиге Стефановне, что Винцукас тоже был очень серьезный, но вместо этого почему-то начала о похоронах. Что его гробик был из обрезков. Ядвига Стефановна сама стала спрашивать о Стрелисах: как они ее впустили, как приносили в погреб еду. И Нора поняла — Ядвига Стефановна хочет, чтобы Нора их вспоминала живыми. Только живыми. Потом Ядвига Стефановна "сбросила с себя пять десятков" и стала изображать, какие они, молодые студентки учительской семинарии, были чинные. Но тайком читали романы о любви, пряча их под учебниками латыни. И про экзамены рассказала, и про выпускной вечер. Даже вздохнула — как жаль, что время проходит так безвозвратно. Но хорошо, что это хоть было... И обязательно надо, чтобы у каждого человека это было: юность, учеба, экзамены, мечты, цель. Еще Ядвига Стефановна спрашивала Нору про школу. И про музыку. Что она играла, что мама любила играть. И про учительницу музыки Статкувене. И про школьных учительниц. Норе было так хорошо это рассказывать! Будто она снова там. Когда Ядвига Стефановна ушла, она сама думала о школе, вспоминала. И неожиданно поразилась: там и теперь так! Классы, уроки, перемены. Хоть бы взглянуть... Очень не терпелось, чтобы нога скорее перестала болеть. Пойдет на работу, товарищ Астраускас пошлет с бумагами, и тогда... Вошел товарищ Астраускас, и Нора словно очнулась — она уже здесь! Сейчас он скажет, что надо пойти... Нора поспешно сунула в ящик папки, ручку. Но он только кивком поздоровался и сел за свой стол. Обхватил голову растопыренными пальцами. Они напряжены, будто им очень трудно удержать тяжесть головы. Марите переглянулась с Людмилой Афанасьевной. Пожала плечами. Наконец он поднял голову. — Рагенса убили. Бандиты. Нора не ослышалась. Он это сказал. Но... ведь не может быть! — Где? — глухо спросила Марите. — В Теркучяй. Поехал на хлебозаготовки. Когда из райкома позвонили, что от нас надо послать одного человека, сам вызвался. Говорит — достаточно насиделись при оккупантах в страхе. Теперь надо делом заняться. А Теркучяй — его родина, и он знает, кто из тамошних хлеб скорее в земле сгноит, но не сдаст государству. За это самое знание его и убили. Почему так тихо? Неужели они не понимают, как это страшно? В него выстрелили! Он мертвый... Уже мертвый... А все равно Нора ждала — сейчас он откроет

дверь, войдет. Но дверь оставалась закрытой. И в комнате было тихо. Так тихо, будто не они, живые люди, тут сидят, а застывшие манекены. И вещи одеревенели. Сейчас все покроется пылью... Как в спящем царстве... Нора хотела шевельнуться. Разбудить их... — А жена... знает? Разбудила. Товарищ Астраускас вздохнул. Людмила Афанасьевна протянула руку за портсигаром. Алюминиевым, самодельным, с пятиконечной звездой и уходящими от нее пунктирными лучами. А Марите резко встала и, ни на кого не глядя, выбежала из комнаты. — Уже пошли к жене... — устало ответил товарищ Астраускас. — Вот в похоронное бюро... — Он глянул на Нору и перебил себя: — Но тебе не надо, сам пойду. А ты, если нога не болит, разнеси вот эти... — И протянул ей курьерскую тетрадь, разбухшую от бумаг. Видно, пока она болела, никто не разносил. Нора поспешно сунула их в портфель. — Они не вписаны, — предупредил товарищ Астраускас. — Ничего, я там... — И она поспешила выйти. Только на улице вспомнила, что не разложила по адресам, даже не знает, куда нести. Все равно шла. Смотрела на людей, старалась слышать их голоса. Неважно, о чем говорят. Только бы думать о них, идущих здесь. Только бы не о Рагенасе. Не представлять себе, как бандиты... Вот навстречу идет женщина. Сворачивает в подворотню. А там стоит старик. Видно, отдыхает, потом будет подниматься по лестнице. Как хорошо, что живой! И Нора вспомнила, как она, когда была маленькая, просила маму никогда не быть такой старой, как бабушка... Идут два солдата. Может, Илько с Витей? Нет, незнакомые... А Рагенаса убили... Нора заспешила. Чтобы не думать, не представлять себе. Только идти. Считать шаги. Вдруг она увидела что-то знакомое. Каштаны! Это их каштаны! По-прежнему стоят вдоль всего переулка. А там, в конце — школа. Нора смотрела на знакомые, только совсем голые ветки. По забытой уже привычке глянула на землю. Но там не было ни одного коричневого каштанника. Раньше они с девочками их собирали. Нора очень любила вылуцивать из лопнувшей уже оболочки блестящий, еще чуть влажный каштанник. И потереть о пальто, чтобы еще больше заблестел. Потом, дома, он уже не блестел, высыхал. И бабушка ворчала, что Нора ими "засоряет все углы". А все равно, увидев их бархатный блеск, Нора опять собирала... Теперь тоже смотрела под ноги — может, найдет хотя бы один. Возьмет его с собой... Она шла от дерева к дереву, но видела только плиты тротуара и прислонившиеся к ним, втиснутые в землю камни мостовой. Нора остановилась. Школа уже совсем близко, через три дома. Или через семь деревьев. Дверь та же. Даже ручка знакомая — массивная, старинная, будто из дворца. Надо уйти отсюда. Сейчас дверь откроется, кто-нибудь выйдет... А ноги продолжали стоять. После того первого утра, летом, она еще ни разу здесь не была. Даже обходила стороной, чтобы никого не встретить. Чтобы ее не спросили, почему не ходит в школу... Дверь открылась. Нора метнулась в подворотню. Спряталась за железными воротами. Через маленькое решетчатое оконце в них увидела кусок улицы. И двух девушек. Незнакомые. Та, что слева, высокая. И с косами. Только не такая красивая, как Иоанна. — ...зато весь урок дрожала, чтобы не вызвал. — А я боялась на алгебре. Раньше Нора тоже так говорила. Чтобы девочки не думали, будто она зубрила. Иногда и правда боялась. Молила бога, чтобы взгляд учительницы скользнул мимо буквы "М". Из школы опять кто-то вышел. Приближаются. Это же Настя! С Яней. Какие они теперь... Нора даже не знала, как это назвать. Лица такие же, но сами они другие, высокие. Настя не размахивает, как раньше, портфелем, не крутит им в воздухе. Несет его чинно, почти как ридикюль. — Я обязательно попрошу, чтобы меня пересадили. А голос совсем такой же. — Не хочу сидеть с такой сплетницей. Она же сидела с Региной. Неужели поссорились? А были такие закадычные подруги. Как они с Юдитой... Еще идут. С шумом. Это мальчишки, маленькие. Наверно, третьеклассники. Они ее не узнают — тогда еще не учились. Но все равно она не трогается с места. — Больше историю учить не буду, — заявляет один. — Вчера столько учил, а все равно тройка. — Говорят, учитель при немцах был партизаном. — Партизаны справедливые. А он из-за одной даты, из-за... Какая это дата, Нора уже не расслышала — прошли. — Нет-нет, и не проси. (Нора опять вздрогнула — знакомый голос, но не успела вспомнить чей.) — Я же сама читаю тайком, когда мамы нет дома. Вита! Как это она сразу не узнала Витиного голоса. Наверно, опять тайно читает что-нибудь про любовь. Она и "Прокаженную" первая читала, и "Монаха белого ужаса". Еще до того, как "Мадам грамотейка" предупредила, чтобы этих книг никто не читал, они только для взрослых. Значит, Вита все такая же... И, может, по-прежнему уверяет, что замуж выйдет только за офицера. А учиться должна хорошо, чтобы муж ею гордился. Они же будут возвращаться в интеллигентном обществе. Снова шаги. Опять голоса. Из школы стали выходить потоком, непрерывно. — ...попросим, чтобы в воскресенье разрешили



устроить танцы... — ...ну и что, спишу у кого-нибудь... — ...а я на завтра уже почти все уроки сделала... Прошли. Нора ждала — может, еще кто-нибудь появится. Тихо. И она осторожно выглянула на улицу. Пусто. Только две женщины идут. И то по другой стороне. Нора побрела обратно. Разносить бумаги... А школа осталась. Те, кто сейчас прошли мимо, завтра опять придут сюда. Войдут в класс, сядут за парту. Достанут тетради. Будут слушать учительницу. А на переменах говорить о географии, ботанике. Они не знают, что убили Рагенаса. И что в том лесу пустые ямы. И про тетю Аню не знают. "Это только кажется, что мы как все..." А папа говорит: "Ты спаслась, чтобы жить. Настоящей жизнью". Настоящей... Тетя Янова не волновалась, что ее нет, — отец заходил предупредить. Поэтому Нора хотела по дороге к себе только поздороваться, сказать, что уже пришла. Но тетя Янова стала расспрашивать про ногу: как Нора ее подвернула и как нога болела — будто мышь изнутри зубами грызет или как будто в нее острыми ножами колют? И хорошо ли ухаживала тетя Люба. Потом тетя Янова долго рассказывала, как сама давно, еще в деревне, упала. Так ушибла ногу, что подняться не могла. Чужие люди домой принесли. Долго она тогда лежала, думали — калекой останется. Но ничего, прошло. Только иногда, перед дождем, очень ноет. Нора слушала, кивала, хотя очень не терпелось подняться к себе. Там, наверно, лежит под дверью письмо от Алдоны. Даже уверена, что оно там лежит. Она всегда знает, когда получит. Высчитывает. И вообще думает об Алдоне все время. Не только когда одна. И когда разговаривает с Марите и Людмилой Афанасьевой и когда сидит у отца. Даже когда слушает тетю Аню. Они все хорошие. Но каждый почему-то хочет, чтобы Нора была именно такой, какой, по их понятию, она должна быть. А Алдона ничего не хочет. Она просто пишет. Рассказывает, как дедок председательствует — где был, что делал. О Тадасе пишет. И обязательно хорошее. О хозяйственных делах — сколько картошки накопили, какие куры перестали нестись. А в последнем письме успокаивала: "Тебе потому не по себе, что жить отвыкла. Все пряталась да только страх и знала. А еще, может, потому тебе непривычно, что город и семья отца чужими кажутся. Когда в другую деревню замуж выдают — тоже сначала так. И земля, по которой ступаешь, вроде не такая, и стол, за которым сидишь, — не свой. А уж люди кругом — и не так, вроде, работают, и не то говорят. Каждый свой шаг чувствуешь, каждое свое слово слышишь. Но потом и сама не замечаешь, как начинаешь привыкать. И уже не чужбина тут. Работаеть ведь, не гостюешь. А что своими руками сделано — то свое. Гость потому и гость, что в стороне от хлопот. Так что привыкнешь и ты". И так в каждом письме. Объяснения, примеры. И Норе, когда она это читает, кажется, что она уже и правда привыкла. И сразу садится писать Алдоне ответ. Что ей хорошо, лучше. Что летом с отцом приедут к ним — отец хочет познакомиться и побывать везде, где Нора пряталась. О новостях на фронте пишет. И о Марите, Людмиле Афанасьевне. В последнем письме написала, как в кино пошла и как потом с тетей Аней до полуночи проговорила. И еще Нора написала, что получила ордер на платок и что в комнате пока не очень холодно. Нора всегда старается рассказывать Алдоне только про хорошее. Но его не хватает, и Нора пишет о другом тоже... Опустив письмо в ящик, Нора в тот же вечер начинает представлять себе, как его оттуда вынимают, везут на почту. Но там писем целые горы, поэтому не могут все сразу рассортировать. Два дня она старается не думать об этом. Конечно, не выдерживает... Зато на третий уже точно представляет себе, как ее письмо едет. В темном закутке вагона, в мешке с другими конвертами колыхается в такт колесам и подрагивает на стыке рельсов. Потом Нора представляет себе, как письмо уже на той, маленькой почте. Дедок получает его. Или какой-нибудь сосед, поехав на базар, заходит на почту справиться, нет ли чего-нибудь в их деревню. Ему подают Норину письмо. И он, возвращаясь, останавливает лошадь возле их калитки. Алдона выбегает за письмом. А вечером уже пишет ей ответ. И Нора начинает его ждать. Опять представляет себе, как оно к ней едет. Теперь письмо уже наверняка есть. Почтальон, как всегда, подсунул под дверь. И оно там лежит. Белеет квадратом на полу. Но тетя Янова не отпускает ее. Подробно рассказывает, как перед самой войной такое же случилось с офицершей, которая жила в доме напротив. Упала-то всего в комнате. А что-то сломала, даже в больницу отвезли. Норе так не терпелось подняться к себе... Как только тетя Янова кончила про офицершу, она поспешно сказала: — Извините, тетя Янова, я пойду. Нога болит... — неожиданно соврала она. — Иди-иди, — отпустила тетя Янова. — Только теперь с этой ногой надо осторожно. Она часто будет подворачиваться. — Хорошо... Спокойной ночи! — и вышла. Письмо лежит. Нора его схватила. Разорвала конверт. Она, конечно, знает, что положено отрезать сбоку узенькую полосочку, но очень хочется скорее прочитать. "Здравствуй,

дорогая Нора. К тебе с приветом..." Глаза забегали вдоль строчек, будто силились сразу узнать все, что тут написано. Потом она прочтет еще раз, уже медленнее. И даже третий. Но теперь торопилась. Вдруг глаза остановились. Впились в одно слово. Петронеле. Норе показалось, что она не поняла. Начала еще раз. "...К Микутисам приезжала на крестины сестра Дарата из Ужжуляй. Она рассказала, что Петронеле, у которой ты пряталась, арестована. Говорят, за связь с бандитами". Нора опять не поняла. Еще раз прочла. Здесь и правда так написано: "арестована за связь с бандитами". Нора заставила глаза оторваться от этих слов и читать дальше. "Но Дарата говорит, что это не она, а ксендз помогал бандитам. Петронеле только делала то, что ксендз велел — кормила, обстирывала. А суд будет у вас, не простой — показательный. Уже и свидетелей вызвали. На понедельник". Так ведь вчера был понедельник! Нора ужаснулась. Вчера!.. Петронеле уже судили... Вместе с бандитами, которые убили Стролисов. Она — с ними?! Но этого же не может быть! Не может! Нора прихрамывая выбежала из комнаты. Вниз по лестнице. Она расскажет! Все расскажет! Как Петронеле тащила ее на себе из лесу, как поила травками, как молилась богу, чтобы Нора не умерла. — Куда ты? Скоро комендантский час. Дядя Ян уже вышел запирать ворота — поздно... Повернула назад. Опять поднялась по лестнице. Выбегая, не закрыла дверь, и теперь она распахнулась, показывая пустоту комнаты... Нора вошла. Села на кушетку. Но она же должна рассказать про Петронеле! Неправда, что Петронеле заодно с бандитами! Они убивают, а она добрая. Очень добрая. Она не может быть с ними! "...Это чтобы жар из тела вышел...", "...А это чтобы крепость в ногах была..." Когда Нора уходила, Петронеле ее перекрестила. И завернула в платочек вместе с хлебом два яичка, которые берегла на пасху... Может, надо было рассказать, что это ксендз выгоняет? Не поверила бы. А если? Она бы поняла, что не все ксендзы хорошие, что этот вот плохой. Ослушалась бы его. И не было бы никакого суда. Теперь спала бы у себя на кровати. Вокруг печи на веревках сушатся травки, грибы на зиму. И столетник дремлет на подоконнике... Но она в тюрьме, в камере. Лежит на дощатых нарах. Вчера ее судили. Потому что Нора опоздала! А это письмо ждало ее, чтобы пришла, прочла, чтобы узнала! А она лежала у папы и думала о себе... Даже сегодня днем, когда шла к школе и, будто маленькая, искала каштаны, письмо ее так ждало! Еще могла бы успеть в суд. А вместо этого стояла в подворотне и смотрела, как выходят из школы Настя, Вита. Завидовала им, хотела быть такой же... Не может она быть такой, как они. Не может! Но это неважно. Петронеле в тюрьме! В камере с маленьким оконцем. За ним — стена. Высокая, толстая. И Петронеле, наверно, страшно. Она не знает, что с нею будет. Это решат другие люди. Может, она думает, что Нора нарочно не пришла в суд — ведь самой теперь ничто не грозит... Но она же не знала! А теперь знает. И все равно сидит. Потому что ночь. Если бы даже побежала тайком, прячась в тени стен, чтобы патрули не увидели, то куда? В тюрьму не впустят. А в суде ночью никого нет. Как передать Петронеле — через эту темноту над крышами, через тюремную стену, решетчатое оконце, — что Нора завтра прибежит. Может, суд еще не кончился. Она расскажет, будет просить, умолять, чтобы Петронеле выпустили. Она же хорошая, очень хорошая! Ударили башенные часы. Три... Четыре... Как долго еще ждать утра! Когда Нора попросила товарища Астраускаса отпустить ее с работы и объяснила про Петронеле и суд, он очень удивился. — Я потом все сделаю! — поспешила она заверить. — Не поэтому... — И посмотрел на нее особенно пристально. — Ты понимаешь, что будешь заступаться за человека, который связан с бандитами? — Но она же спасла меня! Он побарабанил пальцами по столу. — Да... — Как это она оказалась соучастницей бандитов? — удивилась Людмила Афанасьевна. — Это все ксендз... Марите почему-то молчала. Товарищ Астраускас опять посмотрел на нее очень пристально. Будто хотел понять что-то. — А твой отец знает? — Конечно. Он тоже пойдет! — Сперва все-таки выясни... — начала было советовать Людмила Афанасьевна. — Она же не выясняла, когда вела меня из леса! — Тоже верно... — Так мне... можно? — Срочных бумаг пока нет, — будто совсем о другом заговорил товарищ Астраускас. — И если у тебя свои дела... — Спасибо! На лестнице догнала ее Марите. Сунула в карман яблоко. — Съешь. Из деревни привезли. — И поспешила наверх. В суд, то есть в театр, где шел суд, их не хотели впускать. Нужны приглашительные билеты. Отец стал объяснять милиционеру, что они пришли не слушать, а его дочь хочет дать свидетельские показания. — Где ее повестка? — Дело в том, что нас не вызвали, мы сами пришли. Милиционер и слушать перестал. — Но если нас, то есть хотя бы дочь, не выслушают, — настаивал отец, — могут неверно засудить человека. — Гражданин, отойдите. И вы, гражданка, тоже. Но они не могли отойти! Отец просил понять —

там судят старушку, которая во время оккупации спасла... А никто этого не знает... Милиционер махнул рукой. — Там судят бандитов. — Но она не такая! — крикнула Нора. — Разберутся. Отец, волнуясь и оттого неуклюже подпрыгивая на костылях, заспешил к другой двери, где вход на балкон. Опять стал объяснять. Но милиционер сразу перебил его: — Без пригласительных не имею права. — А где их взять? Он пожал плечами. — По месту работы. Или, может, в райкоме. — Но мы можем опоздать! — не отставала Нора. — Мне приказано не впускать. — А где начальник охраны? — строго спросил отец. Милиционер спокойно, будто давая понять, что это все равно не поможет, сказал: — Наверно, внутри. Отец велел ей ждать, а сам ("Хоть бы не выскользнули костыли!" — испугалась Нора) заспешил к дальней небольшой двери с надписью: "Служебный вход". Что-то сердито сказал милиционеру, и тот его впустил! Нора ждала долго. Наконец отец вышел вместе с милицейским офицером, который велел их пропустить. В фойе отец опять ушел — искать Петронелиного адвоката. Нору впустили в зал. Она удивилась, что здесь непривычно светло, совсем не как на спектакле. И зал выглядит иначе — первые ряды стульев сняты. А сбоку отгорожено. Там они! И Петронеле. Забилась в самый угол, опустила голову. В своем всегдашнем черном платке. Ее тоже охраняют... Хоть бы посмотрела сюда! Но она не смотрит. Ни на сцену, где судья, заседатели, ни в зал. Только себе под ноги. И, кажется, даже не слушает. Это ж ее судят! И тех, кто рядом... Они совсем обычные. У крайнего уши большие, оттопыренные. А его сосед потирает небритый подбородок. Но они же убивали! Это только теперь они выглядят... как все... В старых пиджаках, сутулятся. Будто им даже неловко, что на них смотрят. Но у них же были автоматы. И они убивали! Тот, крайний, с торчащими ушами. И второй, что трет подбородок. Той же рукой он нажимал на гашетку... Даже этот белообрый недоросль в сером домотканом пиджачке, который теперь отвечает. — Не... не заставляли. Говорили, кто хочет. — И вы хотели? — Голос судьи был строгий. — Не... Только другие шли, так и я... — А что оккупанты вам за это давали? Значит, он и тогда!.. Нора вздрогнула. Он, который тут стоит, — с автоматом... в том лесу... И если нашел бы ее у Стролисов или у дедка... — Не... Сами-то они ничего не давали... Было тихо. Судья ждал, чтобы он продолжил. И он неохотно пояснил: — Они только позволяли брать. — Что именно? — Одежку. Брюки там или пиджак. Может, пальто. Уже не помню. — Значит, вам разрешали брать одежду расстрелянных? — Не... Не всю. — И опять пояснил: — Это кто половчее, две пары на себя натягивали. Или по карманам лазили — может, там часы или деньги. — А вы? — Я не... — Почему? — Медлительный я. Да и на что мне много? Себе, тестю. Еще иногда детишкам. Или жене. Нет, ей это не снится. Она слышит. И другие тоже слышат. — А почему вы пошли к оккупантам на службу? — Так я ж не знал, что будет такая. Судья полистал на столе бумаги. — Вы поступили в январе сорок второго. Тогда уже было известно, что это за служба. Молчит. — Вы не ответили, почему пошли к оккупантам на службу. Заставили? — Не... Только люди говорили — кто не с ними, в Германию вывезут. Кому ж охота... — А тем, кого вы расстреливали, охота была умереть? — Не... Норе казалось, сейчас что-нибудь случится — лопнет, разорвется эта тишина. Грохнутся наземь люстры. Но было тихо, и люстры висели неподвижно. Только голос судьи казался слишком громким: — Но теперь, когда ваших бывших хозяев уже нет, почему вы теперь продолжали убивать? — Я не убивал. Судья опять полистал свои бумаги. — На предварительном следствии второго октября вы сознались, что выстрелили в председателя сельсовета Витенаса. — Так я ж не один. — Но вы, почему вы выстрелили? — Приказали... — уже совсем неохотно ответил он. — Кто приказал? Он нерешительно глянул на большеухого с краю. Но тот, брезгливо поморщившись, отвернулся. Даже отодвинулся. — Шимонис велел? — Не... — Он, кажется, испугался. — Другие. Фамилий не помню. Говорили, немцы скоро вернутся. И кто не слушается... Вдруг умолк. Будто устал говорить. Или подумал, что все равно не поможет. Судья ждал. Потом задал еще один вопрос: — В убийстве бывшего малоземельного крестьянина Тишкусса, получившего от советской власти землю, а также в убийстве его жены и двух малолетних детей вы участвовали? — Не... — И все-таки, помолчав, добавил: — Только на часах стоял. В зале кто-то заплакал. Все повернулись туда. Плакала старушка в таком же, как у Петронеле, черном платке. А молодая обнимала ее... Судья назвал еще одну фамилию. Еще. Но он упрямо твердил свое: — Не... Только на часах стоял. А Петронеле так ни разу и не подняла головы. Даже не шевельнулась. Будто не слышала ничего, не понимала. Сидела в углу сухонькая, маленькая, в черном платке, черной кофте. Когда судья объявил перерыв, Нора заспешила к Петронеле. Но люди выходили из зала, и, пока она

пробиралась, из-за перегородки всех вывели в заднюю дверь. Петронеле шла последней, и Нора увидела только ее спину, заложенные назад руки. Знакомые, худые... Хотела хотя бы крикнуть, чтобы Петронеле знала — она здесь. Но не успела — дверь закрылась. За перегородкой было пусто. Только две обыкновенные скамьи. А сзади, на двери, в которую их вывели, нарядные бархатные портьеры. Конечно, ведь здесь театр... Подошел отец. — На сегодня все свидетели уже вызваны, иди на работу. Попроси, чтобы завтра отпустили. Повестку мне позже дадут. — А Петронеле? Она же не знает, что я здесь. Отец сочувственно покачал головой. — Говорить все равно не разрешат. — Но пусть хоть увидит, что мы здесь! Он тоже остался ждать. Смотрел в зал. Остановился взглядом на середине какого-то ряда. Будто там стулья знакомые. — В последний раз я... мы с твоей мамой здесь были за три дня до войны... Потом, на фронте, я часто вспоминал тот вечер... Она тоже помнит... Папа с мамой пришли поздно. Она уже лежала в постели. А мама стала рассказывать бабушке... На мгновение Норе показалось — рядом стоит совсем, совсем прежний папа. Внезапно мужской голос у самого уха строго сказал: — Здесь стоять нельзя. Прошу отойти. Милиционер. Нора неохотно отодвинулась. Но совсем немного. — Еще отойдите. Звонки. И сразу второй. Люди входят во все двери, рассаживаются. А портьеры за перегородкой висят неподвижно. В зале зажгли боковой свет. Но та дверь все еще закрыта. Идут! Нет, только милиционер. Второй. Становятся по углам. Они! Большеухий. Его сосед. Тот, отвечавший... — Петронеле! Норе показалось, что она позвала очень тихо, но милиционер строго сказал: — Отойдите. Разговаривать запрещено. — Петронеле... — все равно позвала Нора. Петронеле подняла голову. Встрепенулась. Испугалась. И очень знакомо, поворобьиному быстро повернула голову к сцене, опять к Норе. Снова к сцене. И махнула Норе, чтобы ушла отсюда. Скорее! — Разговаривать нельзя. Прошу отойти. Но она же не разговаривает. Только смотрит. А Петронеле опять махнула рукой. Чтобы Нора скорее ушла. Кажется, боится за нее. — Идем... — Отец погладил Норину плечо. — Идем. Но она не могла двинуться. — Прошу встать. Суд идет! Захлопали стулья. И Петронеле снова опустила голову. Нора вышла. Там, в зале, люди опять садились. Отец тихо прикрыл дверь. Все было совсем не так... Ночью, в своей комнатке, Нора очень ясно представляла себе и этот зал, и сцену. Видела, как стоит там, как рассказывает. Петронеле вовсе не заодно с этими. Она спасла ее. Иначе Нора так и замерзла бы тогда в лесу, в яме... "...Я совсем не могла ступить. Она нагибалась и растирала мне ноги". "...Я хотела лежать на чердаке или в сарае. Тогда, если меня найдут, скажу, что сама туда залезла, она ничего не знает. Но Петронеле даже испугалась: "Как это — человека, еще больного, — в сарай". И про еду Нора рассказывает: "...Мне она всегда наливала больше, чем себе. Я просила, чтобы хоть поровну, а она объясняла: "Я же все время ела, а тебе надо отъесться и за то время, что лежала в лесу голодная". И как Петронеле ее лечила, Нора рассказывает. И как уговаривала не уходить — ведь еще холодно, хоть бы настоящей весны дождалась. А на дорогу отдала единственные два яичка, которые берегла на пасху... А кончив про все это, добавляет то, что сказала тетя Люба: "Нельзя человека судить, если он не понимал, что делает. Это не соучастие". Всю ночь это вертелось в голове: она говорит, судья и заседатели слушают. Петронеле тоже довольна. А после суда Нора ее приводит к отцу. Потом они приходят сюда. Петронеле будет спать на кушетке... Утром все было иначе... Когда она у входа показала милиционеру повестку, он велел пройти в комнату для свидетелей. Нора сказала, что хочет в зал. Но милиционер объяснил, что в зале она сможет остаться только после дачи показаний. А теперь должна пройти за кулисы. Вторая дверь направо. В театре кулисы совсем другие, чем за школьной сценой. Длинный коридор, много дверей. И на каждой карточка с фамилиями артистов. Нора постучалась во вторую дверь. — Войдите. Гримировочная... Вдоль обеих стен — зеркала, тумбочки. Сидят трое мужчин, каждый перед отдельным зеркалом. Деревенские — сразу узнала Нора. Двое пожилых. У крайнего бумажная полоска на подбородке — видно, порезался, когда брился. А третий, который ближе к двери, — совсем молодой. Только старается казаться взрослым. И немножечко похож на того, голубоглазого, который нес ее из леса... Старики сидят прямо, напряженно и, кажется, боятся шевельнуться, чтобы не шевельнулось и там, в зеркале. А парень, наоборот, то как бы ненароком поправляет волосы, то просто руку приподнимает. И следит, как это отражается. — Здравствуйте... — Засмотревшись, Нора забыла поздороваться. Старики кивнули и сразу снова застыли — такие же чинно-неподвижные. А молодой, следя, как в зеркале шевелятся его губы, сказал: — Садитесь. Неизвестно, сколько ждать придется. Она присела на четвертый стул. Тоже перед зеркалом. Над ним лампочка. Казалось, она тоже, как

эти старики, боится шевельнуться. Но, правда, очень неловко было сидеть перед своим отражением, лицом к лицу с собой. И еще видеть в зеркале напротив свой затылок, спину. В коридоре слышались шаги. Все четверо напряглись в ожидании. Нет, прошли мимо. Парень вздохнул. Видно, долго еще ждать... А Нора, кажется, только теперь вспомнила, зачем она здесь. Ее же могут вызвать. И надо будет говорить. Уже теперь, сейчас, в том большом зале! В зеркале были очень испуганные глаза — она забыла! Забыла все, что ночью собиралась сказать складно, убедительно. Это осталось там, в ее комнате. Она быстро зажмурилась. Чтобы вспомнить. Петронеле добрая. Спасла ее... Вела из леса... Нельзя человека судить за то, что он не понимал... это не соучастие... Вызвали Нору самой последней. Первым позвали молодого парня. Услышав свою фамилию, он заволновался. Подскочил, потер о пиджак руки, будто ему сейчас здороваться, а они не очень чистые, и вышел. Они остались втроем. Ждали его возвращения. Тот, с бумажкой на подбородке, так и сказал: — Вернется, хоть расскажет... — Скорее бы... — вздохнул его сосед. И опять замолчали. Сидели перед своими отражениями в закупоренной тут тишине... Когда дверь наконец открылась и громко позвали: "Приглашается свидетель Вайткус", — тот, с порезанным подбородком, кажется, не сразу понял, что это его зовут. Потом суетливо вскочил, на ходу бросил: "До свиданья", — и поспешно заскрипел сапогами к двери. Его сосед остался сидеть в явном нетерпении, готовый каждую минуту высочить. Наконец не выдержал, поднялся. — Наверно, уже скоро позовут. Пригладил на макушке волосы и встал у двери. Так и стоял, видимый в зеркале без головы, долго, переминаясь с ноги на ногу, поминутно одергивая пиджачок. Наконец его тоже позвали. Нора осталась одна. Одна с зеркалами, в которых виднелось много Нор. Только одни сидели к ней спиной, другие — боком. И поворачивались вместе с нею, смотрели друг на друга. Может, судьи забыли о ней? Она достала повестку, положила перед собой. Повестку никто не проверял. Так и осталась там лежать раскрытая, когда Нору внезапно позвали. В зале после блеска зеркал казалось тускло. Нора никуда не смотрела. Встала, куда ей показали. Слушала предупреждение судьи, что за ложные показания... может быть привлечена... по статье... — Конечно, скажу правду! — воскликнула она. Судья еле заметно улыбнулся, и Нора смутилась — наверно, не надо было этого говорить, да еще так громко. Она увидела рояль! Сзади, за судейским столом, в самом углу сцены стоял концертный рояль. И Нора уставилась на него. Отвечала, как фамилия, имя, отчество. Год рождения. Национальность. Только услышав вопрос: "Образование?" — испуганно глянула на судью — это тоже надо говорить? Но он не понял и повторил: — Образование? — Незаконченное среднее... Судья, кажется, удивился. А один заседатель — тот, в очках — неодобрительно покачал головой. — Расскажите суду, как и при каких обстоятельствах вы познакомились с подсудимой Петронеле Куршите. — Я с ней не знакомилась. Она меня прятала. — Когда и сколько времени? — Во время оккупации... Всю зиму. — А точнее? Постарайтесь вспомнить, сколько времени вы у нее находились. Тетя Люба говорила — надо составить список... — С осени... с поздней осени, уже были заморозки, сорок первого года, до... до... — Нора вспомнила стаявший снег, лужи и два яичка, которые Петронеле ей отдала... — почти до пасхи, то есть до весны сорок второго... — Знаете ли вы еще кого-нибудь из подсудимых? — Нет... — Вспомните, может, приходил кто-нибудь из них к Петронеле Куршите? Но судья же спрашивает совсем не о том! Она должна рассказать, какая Петронеле хорошая. Как ее прятала. — Постарайтесь вспомнить... — начал было повторять судья. — Что вы! — поспешила его заверить Нора. — Она их даже не знала раньше. И вовсе не заодно с ними! — Отвечайте только на вопросы, — напомнил судья. — Приходил ли к Петронеле Куршите кто-нибудь из сидящих тут подсудимых? — Нет. Не приходил. — И Нора беспомощно умолкла. Но вдруг услышала свое молчание. Ведь так судья вовсе ничего не узнает. И она добавила: — К ней вообще никто не приходил. Только иногда соседки. Но меня они не видели... — А почему подсудимая вас не укрывала до конца, то есть до прихода Советской Армии?.. Отец говорил, что об этом могут спросить... — Ведь знала, что для вас это смертельная опасность. — Я сама... — Норе показалось, что судья не расслышал, и повторила громче: — Я сама ушла. — Напоминаю, что суду надо говорить только правду. — Правда, я сама ушла... — У вас было более надежное укрытие? — Нет... — Тогда почему же вы ушли? Она вас вынудила? — Что вы! Она не хотела, чтобы я уходила. Потом дала на дорогу хлеба и единственные два яичка, которые берегла на пасху. — Услышав свой голос, Нора поняла, что это совсем не важно, про яички. — Она не хотела, вам некуда было, а все-таки вы ушли. В чем же причина? Нора молчала. Но если не скажет, судья и правда подумает, что Петронеле велела

уйти. А если скажет... Нора посмотрела на Петронеле. Она сидела все так же опустив голову. Если скажет, то Петронеле будет очень больно — будто сама выдала. Да и судья может не поверить, что Петронеле не по злой воле. Она очень набожная... И на исповеди... Судья ждал. И сзади, в зале, было очень тихо. — Потому... что на исповеди она призналась ксендзу... У Петронеле мелко задрожали руки. А может, она мысленно перебирает четки? — И что же? — Ксендз прислал соседку — когда Петронеле не было дома, — и она велела мне уйти. Иначе ксендз... — Неправда! Это крикнул большеухий. Неужели он ксендз? Но ведь совсем непохож. Без сутаны, в обычном пиджаке. — Я вам слова не давал, — сказал ему судья и опять обратился к Норе: — Какую соседку? — Фамилии не знаю. А имя Агота. Петронеле вздрогнула. — И что вам эта Агота сказала? — Чтобы я немедленно ушла. А то... — Выдумки! — опять пробасил большеухий. Судья посмотрел на него очень строго. — Не выдумки! — Нора больше не могла говорить тихо. — Петронеле правда не знала, почему я ухожу. Просила остаться. Дала на дорогу хлеба, единственных два яичка... — Нора помнила, что об этом уже говорила, но все равно продолжала: — ...которые берегла на пасху. И не виновата она! Ни в чем не виновата! Это ксендз велел... А она его слушается... Он же ксендз! — И Нора вспомнила тети Любины слова: -Нельзя человека судить за то... Но судья не дал ей закончить. Опять стал задавать вопросы. А Норе казалось — все не о том, не о главном. Прокурор тоже спрашивал. Говорила ли Петронеле, что боится прихода Советской Армии? И почему Нора все-таки тогда не сказала о причине своего ухода. (Если она действительно настоящая и единственная, подчеркнул он.) Нора смотрела на него — неужели не верит? И только адвокат, кажется, верил. Нора хотела, чтобы он ее спрашивал много. Чтобы она могла рассказать все, все. Но адвокат только хотел знать, просила ли Нора у Петронеле, когда та нашла ее в лесу, чтобы спрятала, или Петронеле сама предложила. И хотя Петронеле тогда ничего не предлагала, просто вела ее, Нора ответила, что да, сама предложила. Еще адвокат спросил, знала ли Петронеле, что за укрытие Норы гитлеровцы ее могут... И Нора, даже не дослушав, поспешила уверить: — Конечно, знала! Когда судья сказал, что она свободна, Нора не сразу поняла, что это уже все, больше ее спрашивать не будут. А ведь еще ничего не рассказала! Но судья повторил: — Вы свободны. Можете, если хотите, остаться в зале. Нора повернулась уходить. Не решилась взглянуть на Петронеле. Ведь не помогла ей... Оставила с этими... А ноги двинулись с места. Пошли туда, к рядам стульев. Глаза увидели свободное место у края. Нора села. — Хорошо говорила девушка... — услышала она за спиной шепот. — Про ксендза могла бы не болтать, — зло ответил другой голос. И Петронеле не смотрит сюда... Что они с нею сделают? Эти строгие люди, сидящие на сцене? Они же ничего не знают! Нора не сумела рассказать. Кого попросить, чтобы завтра ее опять вызвали? Отец сказал, что это было глупым ребячеством на суде крикнуть: "Петронеле, я поеду с тобой!" Но у Норы это само вырвалось. После речи адвоката она вообще надеялась, что Петронеле сразу выпустят. Он же доказал очень правильно, убедительно, что Петронеле совсем не виновата. И просил освободить ее из-под стражи. Норе показалось, что судья кивнул. Она уже представляла себе, как после суда приведет Петронеле к папе. Потом к себе... Даже просила тетю Янову одолжить крестик, чтобы повесить на стене, пока Петронеле будет у нее жить. Но когда судья в самом конце приговора прочел: "...Петронеле Куршите — три года лишения свободы", — и Петронеле, будто только теперь поняв, что это на самом деле о ней, стала беспомощно озираться то на адвоката, то в зал, на Нору, у ней и вырвалось: "Я поеду с тобой!" Отец уверяет, что она помогла. И адвокат это сказал. Если бы не ее показания, Петронеле осудили бы по меньшей мере на восемь, а то и на все десять лет. Ведь все-таки бандиты находили у нее приют. Но именно потому, что она спасла Нору и Нора рассказала о ее фанатической вере в бога и в ксендза, ей дали всего три года. Тетя Люба сказала, что, конечно, можно писать в высшие инстанции, просить еще больше смягчить приговор, нужно ей помогать теплыми вещами, продуктами. Но поехать... И все равно Нора думала об этом... ..Петронеле выпускают из лагеря. Где бы она ни поселилась потом, Нора приезжает к ней. Они живут вдвоем в маленьком домике. Петронеле спит на кровати, а Нора на печи. Только, конечно, не прячась. По вечерам пишет письма. И совсем не чувствует, что должна быть другой. Там нет пианино... И переулка с каштанами, где школа... А здесь все это есть. Даже снится. Как только она закрывает глаза, кажется, еще не засыпает, уже видит это. Каждую ночь то же самое. Будто идет по коридору, бесконечно длинному, со множеством дверей... За одной стучат машинки. Там Марите и Людмила Афанасьевна. За другой — она знает — отец. Теперешний, с тетей Любой, Аликом, Татой. А дверь напротив — прозрачная.

Виден тот лес. И огромные пустые ямы... На соседней двери белеет листок. То самое удостоверение, которое Рагенас подписал во время оккупации. А за дверью — сам Рагенас. Мертвый, в черном гробу, со сложенными на груди руками. В двери направо — окошечко. Это касса тети Ани. Только Нора все равно проходит мимо. Она спешит. Отец велел зайти в вечернюю школу. Но здесь очень много дверей. И Нора проходит мимо всех, повторяющихся. Опять слышен стук машинок. Белеет листок Рагенаса. Виднеются ямы в лесу. Окошечко в кассе тети Ани. А Нора все идет по этому бесконечно длинному коридору, идет... Утром встает усталая, будто и правда всю ночь шла... Недавно рассказала об этом тете Ане. Но она ничуть не удивилась. — Потому и снится, что днем об этом думаешь. — А вы разве не думаете? — Нет... Жизнь вспять не повернешь. Нора хотела спросить — неужели тетя Аня никогда не вспоминает свою прежнюю работу и ей не хочется опять держать в руках новорожденного малыша, вызвать его первый крик, сказать: "Живи, малыш!" Но промолчала. Тетя Аня не любит, когда ей напоминают об этом. — Нас из жизни выбросило, — продолжала тетя Аня. — И вернулись мы уже не в свою, прежнюю жизнь, а в их — тех, кто жил непрерывно. — Но папу ведь тоже "выбросило". И тетю Любу, и других. А они не только помнят... — Значит, могут. А я не могу. Помню, что было... Да и кажется мне, что и теперь мы еще временные. Хоть немцы далеко- в Польшу, Чехословакии, но могут прорваться их самолеты, сбросить бомбы... А сколько людей погибло от этого недавнего взрыва на станции. Говорят — саботаж, дело рук гитлеровских последышей. Какая разница, чьих рук... — Тетя Аня опустила голову, белую, поседевшую в лагере. — Война еще идет... Нора это знает. Слушает сводки Совинформбюро, собирает газетные вырезки с приказами Главнокомандующего, считает, сколько уже освобожденных городов. Читает тете Яновой письма ее Яцека с фронта. И везде — о боях. Идут бои. Она понимает, что там каждый день, даже каждый час, за взятие любого города, за освобождение каждой деревни многие падают мертвыми. Или их ранят... А все равно кажется, что это далеко — фронт, стрельба, взрывы. И поэтому она думает, а что будет потом, после войны? Отец уже столько раз убеждал, что она должна учиться дальше. И на работе, будто сговорившись, все твердят то же самое. Она не спорит. Даже понимает. Но все равно твердит: "Не могу". Тетя Аня это понимает. А те, кто уговаривает... Им, наверно, трудно это постичь, что она не может опять стать ученицей. Думать только об уроках, отметках. Будто ничего не было... Но ведь было! Было! Да и теперь все совсем иначе... Если бы она уже была в школе... Но пойти... Опять постучать в незнакомую дверь. Попросить, чтобы пустили. То есть приняли. Она сразу начинает чувствовать старый страх — что скажут нельзя, уходи... Нет, она не может...

## Глава XII

Нора помнила, что приближается ее день рождения. И раньше, дома, ей казалось, что 5 января — особый день. Даже в календаре это число ей сразу бросалось в глаза. А в школьном дневнике Нора в первый же день учебы проставляла даты далеко вперед — до 5 января. И чем ближе к нему, тем нетерпеливее ждала — будет день рождения! Придут девочки, мальчики. Почти весь класс. Мама испечет торты, сделает желе, придумает веселые игры. В самый последний перед войной день рождения устроили маскарад. Что творилось! Даже бабушку уговорили стать старой графиней, обмахиваться веером, а мама за ширмой пела вместо нее французский романс из "Пиковой дамы". Теперь, в этот день рождения, конечно, ничего не будет. Но все равно она ждала его. Даже нетерпеливо. Накануне вымыла пол. Тетя Янова, узнав, зачем Нора берет у нее ведро и тряпку, принесла две вязанки дров. "Чтобы не устраивать в комнате каток" и как подарок Норе ко дню рождения, а заодно уже и в честь послезавтрашнего "праздника трех королей". Затопили печку. До чего хорошо было! Пахло свежеевымьтым полом, трещали поленья. Тетя Янова рассказывала, как в деревне парни, нарядившись королями, ходили по хатам колядовать. В комнате стало тепло. Нора начала "наводить красоту". Сменила на комод и этажерке бумажные салфетки. Положила не простые белые листки, а вырезала узоры. Чтобы выглядели, как настоящие салфетки. И в комод перевернула бумагу чистой стороной вверх. Теперь ящики уже вообще не такие пустые, как раньше. В верхнем лежат две рубашки, которые

дала тетя Люба. Простыня. Во втором ящике — Алдоины письма. А на этажерке — посуда и, главное, вырезки из газет. У Норы их уже много — с сообщениями Совинформбюро и приказами Главкомандующего. Нора еще раньше решила, что на первой полке будут стоять тарелки, на второй — чашки, на третьей — хлеб и крупа, а на самой нижней — газеты. Пока, правда, у нее есть только мисочка и чашка. Но все равно они стоят каждая на своей полке. Утром Нора по детской привычке выглянула в окно. Ей всегда казалось, что в день ее рождения будет солнечно. И снег будет сверкать особенной белизной. Но было пасмурно. Когда она пришла на работу, Марите, Людмила Афанасьевна и товарищ Астраускас уже сидели. Нора даже испугалась — неужели опоздала? — Сегодня тебя, кажется, положено поздравить, — и Марите подала ей вазочку. Настоящую маленькую вазочку для цветов. Почти такая же, только чуть больше, стояла у мамы на ночном столике. Нора так обрадовалась, что даже не знала, как это объяснить: и что дома была похожая, и что у нее еще никогда не было своей вазочки. — Я поставлю ее на стол! — Я тоже надеюсь, что не на пол, — улыбнулась Марите. Товарищ Астраускас неожиданно встал. Пожал руку и протянул что-то свернутое в трубочку. — Для практического применения. Нотная тетрадь! — изумилась Нора. Совсем новая! Страницы чистые, белые. Даже блестят. — Спасибо! Большое спасибо! — В голове мелькнуло, что она ведь не нужна теперь, но очень не хотелось думать об этом. Нора листала тетрадь, смотрела на знакомые линии... — А у меня ничего памятного нет, — оторвал ее от этих линий голос Людмилы Афанасьевны. — Но хоть отметим. — И она достала из сумки завернутый в шарф солдатский котелок, полный картошки, мисочку с квашеной капустой и целую банку винегрета. Даже вилки принесла. Норе было неловко, что в свой день рождения не она угощает, а сама будто гость. И, похрустывая очень вкусной, совсем как у Алдоны, капустой, решила, что в следующем году она на свой день рождения тоже сделает винегрет, отварит картошку и пригласит всех к себе. После работы она побежала показывать подарки отцу. Там ее тоже поздравили. Тата протянула шарфик. Алик сунул в руку карандаш. Тетя Люба подала вареники. А отец... У него в руках был билет! — На вечер фортепианной музыки. — Мне?! Билет такой же, как до войны, только из толстой, серо-голубой бумаги. Но совсем прежними буквами напечатано: "Партер. 15 ряд. 18 место". Это с левой стороны, будут видны руки пианиста. — Концерт завтра. — Отец улыбался. И тетя Люба. — Спасибо... Большое спасибо... Она пойдет на концерт! Только... сидеть там будет одна... — Почему не спрашиваешь, кто будет играть? — не вытерпел Алик. — Роза Тамаркина, — пояснила тетя Люба. — Говорят, очень талантливая. Это же совсем не важно, кто будет играть. Главное, что будет концерт. Вечер фортепианной музыки. Но вслух она только повторила: — Большое спасибо! Нора посмотрела на отца. Он ждет... Ждет, чтобы она поблагодарила за подарки как раньше, дома. Она быстро поцеловала его в щеку. И почувствовала, как он напряжен, даже мышцы лица упруги. Она повернулась к тете Любе и легонько прикоснулась к ее щеке. — Дети, идите руки мыть! — слишком громко, явно скрывая волнение, сказала тетя Люба. — Ужин, правда, не праздничный, но что поделаешь. — Зато в следующий твой день рождения, — обещал отец, — войны уже не будет, и тогда... Норе почудилось — сейчас он скажет: "Вернется мама!" Но он только сказал: — ...Тогда, конечно, отметим как следует. Тетя Люба принесла глиняную миску горячей, дымящейся картошки. Мама в такой миске растирала желтки для торта. Потом давала Норе вылизать. — Селедка! — сообщил Алик. И правда, в другой руке тетя Люба держала блюдо с пятью кусочками селедки. Настоящей селедки! — Давайте пировать. За именинницу! Отец ее поджидал в явном нетерпении. — Ну, как концерт? Понравился? — Очень! Хорошо, что он торопился на дежурство и больше ничего не спросил. А тети Любы не было дома. Как бы Нора им рассказала, что солистка играла мамину любимую Вторую сонату Шопена? И вообще, как рассказать о концерте? Ночью, когда она вернулась к себе и вспоминала его, хотелось об этом сыграть. ...Как подошла к филармонии. Огромная входная дверь была заперта. Нора даже испугалась — может, отменили концерт. Но большой рекламный щит с синими в потеках словами стоял прислоненный к стене. И Нора перечитывала знакомые названия произведений. Шопен — Вторая соната. Чайковский — "Времена года". Пошел снег — густой, хлопьями. Такой она представляла себе когда-то давно, когда слушала первую пьесу из "Времен года" — "Январь". Но тогда казалось, что снежинки под эту музыку танцуют в воздухе, резвятся... И на землю опускаются уже усталые. Стремятся скорее: отдохнуть, чтобы снова подняться, теперь уже в вихре... А эти, настоящие снежинки, опускались медленно, плавно... Скользили вдоль щита. Будто хотели все закрыть — и название программы, и фамилию солистки. Нора



незаметно, когда близко не было прохожих, сметала своей новой варежкой снег. А в вестибюле был полумрак, горели только две боковые лампочки. Лестница казалась непривычно голой. Наверно, потому, что без своей прежней ковровой дорожки. Гардероб задернут черным в заплатах занавесом. Никто туда и не подходил — в пальто, даже в валенках поднимались сразу наверх. А там на окнах такие же черные шторы затемнения. Прежде нарядная анфилада колонн теперь выглядела как обычные, поставленные в ряд столбы. Нора все равно шла вдоль них, притрагивалась к каждому. Здравовалась. Зазвенел звонок. Тот самый! Только, казалось, теперь он звенит слишком громко. Как и раньше, широко распахнулись двери в зал. Нора вошла. Зал выглядел очень просторным. Наверно, оттого, что много мест пустовало. Лепные амурсы над сценой те же. И арфы в их ангельски пухлых руках. Сцена тоже совсем прежняя. И у рояля также поднята для концерта крышка. Только электрические обогреватели по обеим сторонам стула для солистки очень непривычны... А потом... Она вздрогнула — балкон стали заполнять... немцы. Пленные. Конечно, пленные. Те самые, которых часто ведут по улице на работу. Но зал сразу перестал казаться прежним. И сцена, и рояль. Здесь были они. Наверху, над нею были их голоса, зеленая форма. Конечно, безвредная уже, без погон, без оружия... Нора съежилась, втянула голову. А они на балконе, как ни в чем не бывало, рассаживались. Разговаривали. Они же пришли на концерт! Двое мужчин, сидевших перед Ророй, тоже смотрят на балкон. — Даже на концерты водят. А они с нашими ребятами что делали... — То они, а то мы. В зале заплодировали. Это вышла на сцену солистка. Конечно, в длинном платье. Кланяясь, глянула на балкон. Норе показалось, что она вздрогнула. А может, это ей только померещилось... Пианистка заиграла. Разорвала тишину. Звала все забыть. Только слушать! Но музыка была очень тревожная. С первых же аккордов. И Нора опять подумала — может, тревога только ей одной слышится? Потому что в зале они... Нет. В звуках и правда что-то борется — взволнованное, беспокойное и хорошее, светлое. Ей даже почудилось — она узнает! Вот эта первая, тревожная тема — это ее страх. Тогдашний. Когда она пряталась и боялась, что найдут, расстреляют. А вторая, спокойная тема — ее надежда, что не убьют. Она будет жить. Долго. Станет совсем взрослой. И будет учить детей играть на рояле... И она напряженно вслушивалась — какая тема победит. Очень хотелось, чтобы та, светлая... Но когда в третьей части зазвучал знаменитый похоронный марш, она будто очнулась. Совсем не об этом соната, не о ней. И словно издали всплыло, как мама объясняла, что в этом марше — шествие целого народа, убитого горем. Слышен перезвон колоколов. Безотрадный свист и вой ветра над могилой. Она только теперь поняла, какое шествие... Тех, кого вели на расстрел... И маму тоже... По той самой дороге... А ветер воет в том лесу, над огромными могилами, теперь совсем пустыми... Нора почувствовала, что из глаз медленно текут слезы. Катятся по щекам, капают на руки. Это похоронный марш. Плач по ее маме. По всем, кого угнали... В ту ночь, в другие... По тем, кого выстрелами в затылок валили в яму. И по трем повешенным у мельницы. И по Винцукасу. И по Стасе, и по Антанасу... А они наверху тоже слушают этот траурный марш. Неужели он для них только музыка? Очень захотелось, чтобы солистка при них не играла этот марш, чтобы скорее кончила его и заиграла Чайковского. Или что-нибудь другое. Только не это!.. Больше солистка на поклон не выходила. Ведущая закрыла рояль, выключила обогреватели и с той же, как весь вечер, улыбкой объявила: — Концерт окончен! А Норе не хотелось уходить отсюда, возвращаться в свою комнатку — холодную и очень, очень тихую. Как укрытие. А завтра на работе снова составлять отчет по выданным карточкам. Расчерчивать курьерскую тетрадь. И опять ничего такого не слышать. Жить без этих звуков, которые только что здесь витали... Она спохватилась, что осталась одна. На сцене свет уже погасили. Две билетерши, те самые, которые у входа проверяли билеты, набрасывают на рояль черный чехол. И балкон уже пуст... Она поднялась. На улице пленные выстраивались в колонну. Нора осталась в тени здания ждать. А они строились неторопливо, даже лениво. Потом их увели. Нора тоже двинулась. В варежке сжимала ночной пропуск, который ей дали при выходе, и билет. Эту необычную бумажку, по которой впускают в филармонию, чтобы весь вечер слушать музыку. На улице было пусто. Только дома. И те лишь по одной стороне. Казалось, они с грустью смотрят на противоположную сторону, где груды заснеженных развалин лежат их бывшие соседи, которые еще совсем недавно тоже были домами. А Нора сейчас так не хотела думать об этом! Она зажмурилась, оставила только маленькие щелочки между ресницами, чтобы различать дорогу и больше ничего не видеть. Идти и вспоминать концерт. ...Когда началось второе

отделение и солистка заиграла "Январь" Чайковского, Нору охватило нетерпение, хотелось скорее услышать четвертую пьесу — "Апрель", которую она тоже играла. Давно, в пятом классе. ...Долго у нее ничего не получалось. Учительница сердилась: "Играешь формально, только то, что написано в нотах. Одни звуки. А эта пьеса называется "Подснежник". Понимаешь?" Нора кивала, старалась, но учительница все равно была недовольна. Однажды стала объяснять: "Представь себе подснежник. На вид он хрупкий, нежный. А ведь сам выбивается из-под снега. Еще холодно, дуют ветры, не балует его скупое апрельское солнце. А он все равно выбивается. И расцветает! Чтобы первым принести людям весну...". Нора вспомнила эти слова учительницы, когда услышала знакомую нежную мелодию на фоне трепещущих аккордов. На миг даже показалось, что и она играла похоже... Тамаркина исполнила все двенадцать пьес. "Белые ночи" и "Баркаролу", которые мама играла. И "Осеннюю песню". И "Тройку". Нора их узнавала, и ей было очень, совсем непривычно хорошо. Они казались такими своими... Нора старалась не думать, что сама уже не будет их играть. Теперь это казалось не таким страшным. Только бы они были, только бы их слышать, быть с ними вместе! Даже здесь, на этой пустой черно-белой улице они были с нею. И Нора им ворила. Чтобы не исчезли. Не оставили ее опять в этой очень долго длившейся немой глухоте...

### Глава XIII

Тетя Янова вошла запыхавшись. — Мой Яцек в Варшаве! — И протянула Норе письмо. — Он этого, конечно, не пишет. Но я же сама понимаю. "Скоро, наверно, увижу кузину Барбару". А Барбара живет в Варшаве! — Тетя Янова перевела дух. Села на кушетку. — Но ты читай, читай! Нора стала читать. Как всегда — медленно, отчетливо. Тетя Янова — тоже как всегда — согласно кивала головой. Будто подтверждала, что Нора и правда читает то, что там написано. Первое время Нора удивлялась — тетя Янова совсем так же кивает и когда слушает в первый раз только что вскрытое письмо. Будто заранее знала, что там будет написано. Неужели сердце матери действительно все чувствует? А может, она потому кивает, что письма Яцека очень похожи друг на друга? "Мы бьем врага...", "Обо мне не беспокойтесь, я здоров...", "Шлю привет..." И это письмо было таким же. Только длиннее других. После приветов, "бьем врага" и "я здоров" было еще очень много строк. И Нора их читала в большом нетерпении, "Сегодня под утро мы взяли деревню, в которой было много концлагерников — гитлеровцы их пригнали сюда рыть окопы. Потом, чтобы не везти обратно в лагерь, гитлеровцы собирались расстрелять их. И люди это знали..." Тетя Янова вздохнула. "Дорогие родители, вам было бы очень страшно это видеть — до чего враги довели людей. Молодые, а выглядят стариками. Худоба такая — один скелет и кожа. Как они работали, если на ногах еле стоят?! Мы отправили всех в госпиталь. Есть и наши земляки". У Норы затрепыхалось сердце — земляки! Правда, мужчины. Но... может, там хоть Микас? Надо рассказать Иоанне! — Тетя Янова, извините, я побегу. У моей подруги брата вывезли. Может, это его ваш Яцек освободил... А они не знают... — Беги, почему ж нет... — Тетя Янова взяла письмо обратно. — Если и не его, все равно радость. Другой матери... А Нора хотела, чтобы это Микаса освободили! Его вылечат, он вернется сюда, и учительница опять будет такая же, как раньше. — Взяла бы мой тулупчик, — сказала тетя Янова, увидев, что Нора под жакет натягивает старую кофту тети Любы. — Замерзнешь. А мне он до вечера не нужен, буду дома. — Спасибо. Не замерзну. Я быстро... В тулупе, конечно, было бы теплее. Но он такой длинный, широкий. Стыдно в нем идти по улице. Уж лучше потерпеть. — Хоть бы не зря бежала по такому морозу, — вздохнула тетя Янова. — Не зря! — Нора быстро сбежала по лестнице, оставив Янову спускаться медленно, держась за перила. Хорошо, что перед домом Иоанны она долго не могла перейти улицу — ехала колонна военных грузовиков. А то влетела бы к Иоанне с теми же словами, которые повторяла, пока бежала по улице: "Мику освободили!" Но пока стояла, услышала, как рядом сказали: — Может, и вернется. Но говорят, много в лагерях повимерло. — Где ж такое выдержать... Это они не про Мику! Про кого-то другого. Они ж его не знают. А Микас живой! Обязательно живой! И

все-таки, когда проехала последняя машина, она улицу перешла медленно. Но увидев в дверях Иоанну, теперешнюю, худую, не удержалась: — Я с доброй вестью! Иоанна чуть улыбнулась и пригласила войти. Не в отцовский кабинет, как тогда, а в столовую. Тут было светло — шторы раздвинуты. И кресло-качалка пустая. Только плед, тот самый, в красно-черную клетку, которым тогда были накрыты ноги учительницы, лежал на подлокотнике. — Мама в больнице, — объяснила Иоанна. — Ей лучше? — Нора спросила совсем как бабушка. "Когда спрашиваешь о здоровье, — учила бабушка, — уже в вопросе должна слышаться надежда". — Да, немного... — А я пришла вам сказать, что взяли деревню, где было много вывезенных отсюда... Они там рыли окопы... Иоанна обрадовалась, но сразу опять погрузилась. — Микас написал бы... — Так его ж освободили совсем недавно! Мы только сегодня получили письмо. От того, который освобождал. Он пишет, что всех положили в госпиталь. Потому что они очень худые. Да и письмо идет долго! — Нора не знала, что еще сказать, чтобы Иоанна поверила. Старалась не помнить, как тетя Янова вздохнула: "Если и не его освободили, все равно радость. Другой матери..." Она хотела, чтобы радость была учительнице! — Ты расскажи это маме! — И Нора замаялась. — Она все еще не понимает? — Теперь уже понимает. Ее же печат. — Так ты расскажи! Что освободили. В деревне. Гитлеровцы их туда пригнали рыть окопы. Хочешь, я тебе и письмо принесу! — Спасибо. Конечно, расскажу. Мы стараемся в ней поддерживать надежду. Пока она совсем не поправится. Потом, если даже Микас... — Иоанна осеклась. — Может, иначе перенесет это... — Он вернется! Обязательно вернется! — Нора хотела, чтобы и Иоанна поверила. Чтобы хоть улыбнулась. — Хочешь, я пойду с тобой к твоей маме и сама ей расскажу? — Спасибо. — Иоанна все-таки улыбнулась. — Сегодня у нее папа. И завтра пойдет он, мне вечером в школу. А во вторник, если сможешь... — Конечно, смогу. — А в ушах звучали ее слова "в школу". — В какую... школу? — Вечернюю, конечно. Для восьмого класса дневной я уже стара... Я ж два года не училась. — А я три. — Разве ты не учишься? — удивилась Иоанна. Нора покачала головой. — Почему? Нора молчала. Привычное "не могу" перед Иоанной застряло... — Папа тоже говорит, что надо учиться. И на работе... — Так пошли! У Норы екнуло сердце. Будто Иоанна сказала что-то очень необычное. — Отнесем заявление. Возьмем в своей школе справку, что ты кончила шесть классов. Дневника у тебя ведь нет? — Нет. Остался дома... — Ничего. В школе есть наши классные журналы. Выпишут. Значит, все это время — и когда она по ночам стучалась в чужую дверь, чтобы впустили, и когда пряталась у мельника, у Стролисов, лежала в лесу — ее отметки все равно были. Тут, в школе. Все, все красивые пятерки. И похожие на перевернутый стул четверки! — Так пойдём! — повторила Иоанна. Нора кивнула. И самой стало странно, что она не сказала "нет"... Класс был почти такой же, как в их школе. Тоже три ряда парт. Только на окнах теперешние шторы затемнения. И очень непривычно, что за партами взрослые. Двенадцать человек. Неужели это весь класс? — Товарищи, кто решил вторую задачу по алгебре? — прямо с порога спросила грузная женщина в синем платке. Неужели ей тоже могут поставить двойку? — Я и первой не решил, — признался седоватый мужчина в железнодорожной форме, еле втискиваясь за парту. — Дежурил. Дайте хоть первую списать. Нора чуть не рассмеялась — такой взрослый, а будет списывать. Боится, чтобы учитель не вызвал? Но он же сам как учитель. Почти седой. Она старалась не смотреть, как этот железнодорожник надевает очки, как принимается переписывать задачу. На парте вырезаны буквы "А. К.". Наверно, какой-нибудь мальчишка из дневной школы решил себя увековечить. Вошла еще одна женщина. (Теперь вместе с Норой уже четырнадцать человек.) Очень высокая, худая. За парту села боком — ноги не вмещались. — Думала, не приду сегодня, — пожаловалась она своей соседке. — Столько работы, ужас. Еще и ревизию провести надо. Но я не хотела пропускать алгебру. — Надо было прийти сразу на второй урок. Иоанна тоже говорила, что в этой школе можно пропускать. И сама сегодня не придет — должна быть в больнице. Нора из-за этого даже хотела начать учиться с завтрашнего дня. Но отец сказал — нельзя в первый же день не явиться. Да и сама не вытерпела бы дома. Даже не может вспомнить, что делала каждый вечер после работы. Вчера ходила проведать Марите, она болела. А раньше? Марите совсем не удивилась, когда Нора ей сказала про школу. — Правильно делаешь. — И сразу спросила: — О Петронеле больше ничего нового? — Нет. Мы посылку уже приготовили. Как только узнаем адрес... Зато Людмила Афанасьевна весь день говорила о школе. Вспоминала ту, в которой сама училась, а потом учился ее Игорь. Отец с тетей Любой тоже были довольны. Отец все время улыбался, а когда она уходила, стоял в дверях, пока не сбежала по лестнице. Только тетя Аня — Нора и к ней

заглянула по дороге, чтобы сказать — не улыбнулась. — Что ж... раз ты решила... — Но не оставаться же на всю жизнь малограмотной из-за того, что Гитлер... — Я ж тебя не осуждаю. Если только можешь... — А вы? Может, вы... тоже? — Что, учиться? — Нет. Но работать... Как раньше... Тетя Аня не ответила. Спросила Нору, в какой класс она пойдет. Наконец железнодорожник переписал. Вернул тетрадь. — Спасибо, хоть одна будет. Закурить бы теперь после трудов праведных. Резко зазвенело. Сейчас будет урок! Нора поспешно достала тетрадь, карандаш и стала поглядывать на дверь. Вошел учитель. Нора и сама не заметила, как вскочила. Спихватилась, что стоит одна, остальные сидят. Разве во взрослой школе не надо вставать, когда входит учитель? Она смущенно села. А учитель, опираясь на палку (ноги у него целы, успела заметить Нора, только одна не гнется), подошел к столу. Конечно, сразу увидел ее. — Вы впервые? Она опять хотела встать, но только чуть приподнялась. — Да. — Поздновато выбрались, — сказал он. Совсем не строго. И раскрыл журнал. Наверно, чтобы посмотреть, как ее фамилия. — Маркельските! — громко сказала она. Учитель удивился. Наверно, он вовсе не за этим раскрыл журнал. Но улыбнулся. — Спасибо. Все равно уши у нее горели. — Итак... — это он уже сказал всему классу, — сегодня мы в порядке повторения совершим краткую экскурсию в прошлое. Вспомним князя Миндаугаса. Значит, будет урок истории. Учитель прислонил свою палку к столу. Сел. — Миндаугас правил с тысяча двести тридцать шестого года до тысяча двести шестьдесят третьего года. Он объединил под свое начало многие княжества, силой действуя против непослушных феодальных князей... Она в школе. Это урок истории. Учитель рассказывает о Миндаугасе. Том самом Миндаугасе из учебника истории. Но тот же казался героем — объединил, создал единое государство. А выходит — тоже силой... — ...Однако объединение литовских земель не устранило междоусобиц между феодалами. Они продолжали борьбу с Миндаугасом за власть. Для этого заключили союз с Ливонским орденом, который воспользовался междоусобицей, чтобы поработить Литву. "Поработить". Значит, и тогда... — ...В тысяча двести шестьдесят втором году Миндаугас заключил союз с владимиросудальским князем Александром Невским для похода против крестоносцев. Крестоносцев?! Ведь крестоносцы... Нора хотела попросить учителя остановиться, повторить. Ей очень надо было что-то понять. Но учитель все говорил, говорил. Губы шевелились, произносили слова. Нора такие уже слышала. Когда-то, в школе. Так ведь здесь школа. Она учится. Учитя... Зазвенел звонок. Перемена? Тоже как раньше. Но она же ничего не запомнила! И книги нет. Если учитель завтра спросит... Вторым уроком была алгебра. Учительница что-то объясняла. Писала на доске иксы, игреки, зеты. Закрывала их в скобки. Умножала. Складывала. Нора старалась следить, понять. Мгновеньями даже казалось, что она начинает что-то улавливать. Но учительница уже писала новую строчку, потом еще одну. И эти знакомые буквы, цифры, скобки стали просто белыми шеренгами на черной доске. Нора торопилась хоть переписать в тетрадь. Когда на перемене железнодорожник их стирал, Нора с облегчением смотрела, как они исчезают. Будто и не было их вовсе... Опять резко зазвенело. Почему-то теперь звонки очень громкие. И в квартирах, и здесь. Даже в филармонии. Железнодорожник положил на парту учебник. "Français". — Вы учите французский? — изумилась Нора. Он не успел ответить — вошла учительница. Совсем старенькая. И, как Ядвига Стефановна, тоже в пенсне. Но, видно, все равно близорукая — не заметила, что в классе новенькая, то есть она, Нора. Что-то сказала. Все раскрыли тетради. Стали записывать — учительница что-то произносила. Конечно, по-французски. Много слов подряд, наверно, целые фразы. Нора силилась уловить хоть что-то знакомое, похожее на немецкий. Но учительница, казалось, произносит только длиннющие вереницы непривычных звуков. Железнодорожник их понимает. И его соседка в синем платке. И высокая, чьи ноги не помещаются под партой. Все понимают, записывают. А она... Неожиданно учительница сказала по-литовски: "Глагол". Нора поспешно записала в тетрадь. Но уже опять звучала непонятная речь. Нора слушала. Но почему-то вспоминала свою комнатку. Там на этажерке лежит оставленный на вечер ломтик хлеба. А у тети Яновой тепло... Они, наверно, ужинают. Может, получили от Яцека письмо... После урока она подойдет к последней парте. Там сложены все пальто. Она возьмет свой жакет, платок... Но на перемене не решилась — никто туда не подходил. Снова зазвенел звонок. Железнодорожник достал учебник физики. Вошла другая учительница, молодая. Но ведь учитель физики старый, с бородкой. И сразу спихватилась — это было там, в их школе. А здесь другая. И все-таки было странно смотреть на эту очень молодую, с пухлыми, как у ребенка, губами и ямочкой на подбородке женщину. Она учительница физики. Учительница. Вызвала кого-то к доске. Пошла

высокая, у которой ноги не помещаются под партой. Стала отвечать. Опять непонятное. И на доске рисовала совсем незнакомое... Учительница ей поставила отметку и стала смотреть в журнал — кого еще вызвать. Нора встрепелась — только бы не ее! Только бы... Зря она после французского не ушла. К доске пошел железнодорожник. Он отвечал хуже, сбивался. Даже вспотел от волнения. Учительница ему помогала, подсказывала. Но все равно он хоть что-то знал! Хоть понимал вопросы. А она... И Нора стала нетерпеливо ждать звонка. Были бы часы, поглядывала бы, как когда-то, в той школе, сколько осталось до перемены. Нора старается не думать о школе. Чтобы было как каждый вечер. Она ест оставленный на ужин хлеб. Чувствует во рту знакомый вкус. Сидит у себя в комнате, на кушетке. Может пойти к тете Яновой. Она привычно убеждает себя, доказывает, что ничего не изменилось. Все как каждый вечер. Надо только не думать о школе. Не помнить, что была там. Но она помнит. Как сидела за партой и ничего не понимала. Ни алгебры, ни физики, ни французского... Нора встает. Подходит к окну. На улице от снега и луны светло. Она привычно пересчитывает окна соседних домов. Семнадцать. И четыре крыши. А это не проходит. Парты, алгебра, физика. Может, спуститься к тете Яновой? Там будут говорить о фронте, о письмах Яцека. Но если дядя Ян спросит, как было в школе? Ведь похвасталась, что идет. Всем расхвасталась. И очень хотела встретиться на улице того парня, который нес ее из леса. Она бы ему тоже рассказала, что пошла учиться! Хорошо, что не встретила... А как размечталась! ...Она, уже совсем взрослая, сидит у рояля рядом с ученицей, маленькой, в кудряшках, как соседская Рута. Нора ей объясняет, показывает. И Рута очень старательно вторит. Старается сыграть так, как Нора ей показала. Та-та, та-та-та-та. ...Потом концерт. Зал полон. Сквозь дырочку в занавесе она видит отца, тетю Любу. Рядом седую голову Ядвиги Стефановны. И очень волнуется: Рута играет первой. Уже дали третий звонок. В зале гаснет свет. Нора ободряюще, как когда-то ей учительница Статкувене, улыбается Руте и выходит в полутемный зал. Замечает с края свободное место, садится. Сейчас раздвинется занавес. За ним — рояль. И сердце вдруг вздрагивает — она, кажется, забыла Руте что-то сказать. Очень важное, главное. А Рута — вот она — уже вышла. Сделала книксен. Усаживается. Почему так долго, разве ей неудобно? Неужели стул слишком низкий? Они же перед концертом еще раз пробовали его. Начала... Молодец. Хорошо. Очень хорошо. Норе хочется, как на уроке, сказать это вслух. Чтобы Рута не волновалась, играла спокойно. Хотя дети перед публикой волнуются меньше, чем взрослые. Это, кажется, говорила мама. Давно, очень давно. Когда Нора была такой, как Рута. Рута споткнулась! У Норы внутри что-то провалилось. Умница, не растерялась. Пошла дальше. Ничего. Ничего. Взрослые иногда тоже "мажут". Главное, что не остановилась. Что играет дальше. Хорошо. Молодец. А ведь раньше этот пассаж не получался. И эти тремоло не звучали. Сколько с ними намучились! Зато теперь хорошо, все хорошо... Сейчас будет кода... Аплодируют?! Да, да, конечно. Она ведь хорошо сыграла. Правда, хорошо? Нора хочет оглянуться назад. Как отец, доволен? Но только чуть повернув голову, застывает. Рядом парень, который нес ее из леса. Он узнал ее... Наклонился к самому уху. — Как нога? Нора смутилась. Помнит... — Поздравляю... — И он осторожно притрагивается к ее руке. — Хорошо ваша девочка играла. Откуда он знал, что будет играть ее ученица? Но спросить Нора не решается. Только почему-то бросает взгляд на его волосы. Тогда, на дороге, ветер их очень теребил. Теперь они лежат гладко причесанные. А сам он ей улыбается как тогда, в лесу. Вдруг Нора открывает глаза. Не будет концерта, учениц! Ничего этого не будет! "Нас из жизни выбросило". "Тетя Аня, но мы же вернулись!" "Конечно..." Вернулась! Вернулась! И больше не надо бояться, что убьют, не надо прятаться. Она может ходить куда хочет. А ведь уже так привыкла к этому, что даже забывает радоваться. Нет-нет, она радуется! Но она хочет и музыки. Хочет учить детей. И чтобы в школе был концерт... И чтобы в зале сидел отец... Но этого не будет. Она смотрит на потолок. Там отсвет окна. Ее окна. И комната эта ее. И хлебные карточки у нее есть, "В тысяча двести шестьдесят втором году Миндаугас заключил союз с владими́ро-сузда́льским князем Александром Невским для похода против крестоносцев". Она запомнила! Но алгебра... "Не зная предыдущего, нельзя понять дальнейшее". Кто это говорил? Кажется, в той школе, до войны. Там она и физику понимала. "Нас из жизни выбросило..." Норе казалось, что она совсем не спала. Утром, когда собиралась на работу, ей уже не так тяжело было, что она не пойдет больше в школу. Людмиле Афанасьевне и Марите она ничего не скажет. Отцу тоже. А тетя Аня, наверно, даже не удивится, когда Нора после работы опять зайдет к ней в кассу. Как всегда, поможет сосчитать выручку. Тетя Аня заполнит рапортчку. На улицу тоже выйдут

вместе. Дома у тети Ани растопят печь. На столе всегдашняя коробочка с сахаринром. Будут пить чай, разговаривать... Нора мысленно повторяла это. Будто репетировала. Чтобы вечером было совсем так же. Как всегда. Но когда пришла на работу... Сперва не поняла, что за гора высится на столе товарища Астрадаускаса. Книги! Три стопки книг. Задачник по геометрии для седьмого класса. Хрестоматия. Учебник алгебры. Литовская грамматика. Так это же... Нора стала быстро перебирать. Еще один задачник по геометрии, тоже для седьмого класса. Зачем два одинаковых? Учебник французского. Ботаника. Атлас! Настоящий атлас, совсем такой, как был у нее. Только этот с кляксой. Скрипнула дверь. — Марите, сколько книг! — Да, унести будет нелегко, — буднично ответила Марите. И Нора вдруг вспомнила... — Но... они мне... Марите не обратила внимания. — Перестарались. Те, что по две, отдай кому-нибудь. — Я... не смогу... Не пойду больше в школу, — наконец произнесла она. — Не понимаю там ничего... — А ты хотела после трех лет перерыва, да еще начав со второго семестра, сразу понять? — Нет. Но... — А раз нет, значит, понимала, что придется догонять? Не очень. То есть не подумала... Если начать по всем учебникам с первой страницы... — Они учат французский, — еще пробовала она возразить. — Сдашь в другой школе немецкий и принесешь им справку. У Марите всегда все просто. — Удивляюсь тебе. Сколько всего преодолела, а теперь чуть какая трудность — и уже готова отступить. — Тогда было другое... — Конечно. Тогда нельзя было отступить — грозило слишком страшное. А теперь можно. Трудно учиться — не буду. Мало зарабатываю — могу поголодать. — Я не голодаю... Я у папы... Марите не слушала. — Словом, бери книжки и говори спасибо. — Спасибо. — И, глянув на Марите, повторила: — Большое спасибо! Марите улыбалась. И Нора еле удержалась, чтобы не подбежать к ней и не чмокнуть в щеку. Как раньше, дома, когда благодарила за подарок.

#### Глава XIV

Нора понимала, что так радоваться пятерке неприлично — она же не маленькая. Но все-таки не удержалась, сбежала с последнего урока, чтобы заскочить к отцу. По дороге представляла себе, как вбегает. "Угадайте, что я получила? И по какому предмету?" Все гадают: "По литовскому", "По истории". "По русской грамматике". Она мотает головой. "По ге-о-гра-фи-и!" А завтра забежит к тете Ане. Тоже расскажет. Она теперь будет тете Ане рассказывать только хорошее! И папу попросит, чтобы он ей объяснил... Про прежнюю работу... Но это завтра, потом. А сегодня пусть он угадает, что она получила. Но когда он открыл дверь, Нора сразу выпалила: — Я получила пятерку! — Люба, слышишь? — Отец всегда старается показать тете Любе — вот какая она, Нора! Алик высунул голову из-под одеяла. — Я тоже получил пятерку! — По физкультуре, — уточнила тетя Люба. — Все равно! — Конечно, конечно, — поспешил его заверить отец. — А теперь спи. Тетя Люба шепотом попросила: — Перейдем на кухню. А то и сам не уснет, и Тату разбудит. На кухне она сразу стала подогревать чай, поставила Норе тарелку, отрезала хлеба. А про пятерку больше не спросила. Нора тоже молчала. Только вспомнила, что на перемене ее вызывали к директору. — Вместо французского мне разрешили сдать немецкий. Экстерном, в другой школе. — Очень хорошо! — обрадовалась тетя Люба. — Старайся не помнить, что на этом языке кричал солдат, который выгонял твою маму... бабушку... — И, видно, чтобы сразу переменить разговор, отец спросил: — А что на работе? — Ничего... — Но вдруг Нора вспомнила! И сразу стало тяжело. Как было весь день, до пятерки... — Из-за меня... сегодня... — Она не знала, как это назвать. То, что было сегодня... Отец не расспрашивал. Но тетя Люба не удержалась: — Что-нибудь серьезное? — Да... Может, даже придется оттуда уйти. — Почему? Что случилось? Нора начала рассказывать. Она очень хотела, чтобы они поняли. Чтобы объяснили — неужели она и правда виновата? Утром они с Климчене оформляли стенгазету. Климчене спросила, правда ли, что вместо четырех ордеров на чулки дают только два. И кого вычеркнул — ведь список уже есть. Нора ответила, что в списке их четверо: Климчене, секретарша, то есть Лаукайте, Сонгайлене и она, Нора. Но кого вычеркнул, она не знает, это решит местком. — Тебе, конечно, надо дать, — сразу сказала Климчене. — Не тем двум, особенно секретарше! Она во время оккупации знаешь как жила. Мать в магазине работала, и они за водку вещи расстрелянных скупали. Думаешь, откуда это синее пальто с лисицей? У Норы задрожали руки. Даже кисточка с клеем запрыгала. — Я с себя все продавала, чтобы детей прокормить, а они, видишь ли, лисиц покупали. — И, вздохнув, добавила: — Говорят, среди тех, кто расстреливал, был какой-то капитан Лаукас. Не родня ли? Слушая Климчене, Нора представила себе тот лес. Туда пригнали маму, бабушку. Юдиту. И еще много других. Велят раздеться. Гонят к краю ямы. А там... из

автоматов... Они падают... А у горы с одеждой раздеваются новые... Их тоже — к яме... Потом, когда стрелять больше не в кого, — те, с автоматами, роются в этой горе вешей. Один вытаскивает синее пальто, с лисицей... Теперь Нора это пальто видит каждое утро, когда Лаукайте приходит на работу. И днем, когда оно висит... Нора бросила стенгазету и побежала предупредить Марите — она же в месткоме, а в обеденный перерыв местком собирался распределять ордера. Марите выслушала ее очень спокойно. — Да... Климчене знала, чем тебя пронять. — Зачем меня пронимать, я же не в месткоме. Марите ухмыльнулась: — Чтобы ты растрогала членов месткома. Нора не понимала, почему Марите так спокойно говорит об этом. Неужели знала и... ничего? — Вы... это знали? — Что знала? — неожиданно вспылила Марите. — Что она тогда купила пальто? Да, знала. Так что из этого? — Но Климчене говорит... — А откуда она знает? Кто это вообще может знать? — Марите, кажется, не спрашивала, а упрекала. — Откуда вам с Климчене известно, что Лаукайте знала, у кого покупает? Отец закурил. Зажигалка дрожала в его руке. Наверно, он тоже подумал, что и мамыны вещи, может, так продали. Теперь их кто-то носит... Тетя Люба, кажется, поняла. Тихо сказала: — В основном эту одежду увозили... Марите тоже говорила об этом. Но потом, в конце. А тогда она почти кричала. — Ты вот недавно ходила на толкучку. Даже хотела что-то купить. Но ведь не спрашивала, чье это было раньше. Даже не подумала спросить. Так и Лаукайте могла не знать, чье покупает. — И сразу, Нора даже не успела рта раскрыть, добавила уже тише: — Но, конечно, могла и делать вид, что не понимает... Потому что мерзла, и пальто ей очень нужно было. Нора так и не поняла — Марите защищает секретаршу или наоборот... — Климчене говорит, что ее мать работала в магазине, — вспомнила Нора. Марите опять взорвалась: — Скажи своей Климчене, что хватит! Хватит топить друг друга! Травить, сводить счеты, завидовать. Не надо больше! Иначе погибнем! Превратимся в мелкие и злобные ничтожества. Ведь фашисты как раз этого хотели — натравить всех друг на друга, и пусть эти "низшие расы" сами себя и одна другую уничтожат. Нора испугалась. Она никогда не видела Марите такой. Не знала, как ее успокоить. И Людмила Афанасьевна, как нарочно, не возвращалась. А Марите не унималась: — Это что же такое! Наушничество, травля, чуть ли не донос. И все из-за одной пары чулок! — Я же ничего... — оправдывалась Нора. И Марите продолжала уже обычным своим голосом, только очень грустно: — И я не знаю, что хуже — купить какую-то тряпку, не выясняя, чья она, или из-за пары чулок поссорить людей. Может, даже оклеветать их... Нора обомлела — в дверях стояла секретарша, Лаукайте. Бледная. Значит, давно тут, слышала... И бумаги в руке мелко дрожат. А губы сжаты. Кажется, она хочет что-то сказать, но не может их разомкнуть. — Ничего... — глухо сказала ей Марите. — Это мы так... Вообще... Секретарша ничего не ответила. И вышла. Но потом, в своей комнате, очень плакала. Каждому объясняла, что пальто не сама купила, а подруга принесла его. И ей даже в голову не пришло, что оно принадлежало тому, кого убили. Можно у подруги узнать, кто продавал. А с тем Лаукасом, который был при расстрелах, они не родственники, даже не земляки. Ей сочувствовали. Успокаивали. Конечно, почему она должна была об этом подумать? Мало ли кто продавал. Чтобы не подохнуть с голоду, люди все продавали. Да и разве она виновата, что фашисты убивали. Правда, Нора слышала, как Стасе, ее ворчливая напарница по первому субботнику, все-таки буркнула: — И все же купила она его за водку. А хорошие люди за водку не продают. Весь день говорили только об этом. Заседания месткома не было. А Нора хотела им сказать, чтобы ей ордера не давали. Пусть дают Климчене, секретарше, кому хотят. Ей не нужно. Она будет ходить в чулках тети Любы, старых. Только пусть больше не говорят об этом. Ей казалось, что все недовольны ею. Сердятся. А Климчене даже вслух сказала: — Чего она тут целыми днями торчит? Разносила бы свои бумаги вместо того, чтобы сплетнями заниматься. Теперь, когда Нора их повторила, эти слова звучали еще безжалостнее. Но это несправедливо, она не разводила сплетен! Тетя Люба молчала. Отец тоже. Наконец он поднял голову. — Я же тебя еще маленькую учил: не повторяй всего, что слышишь. — Но это же не просто, что слышала. Это про расстрелянных! — Ладно... — сказала тетя Люба. — Не надо больше об этом. И не переживай. Но принимать на веру все, что кто-то говорит, тоже не надо. К сожалению, этому научишься только после того, как несколько раз обожжешься. А она не хочет больше обжигаться. Она и так поняла... В то, что она потеряла хлебную карточку, Нора поверила не сразу. Перелистала весь учебник. Встряхнула его. Схватила задачник по алгебре. Русскую хрестоматию. Карточки не было. Конечно, она хорошо помнит, что вложила ее в учебник географии. И все-таки еще раз проверила. Хрестоматию. Задачник. Географию. Чтобы

оттянуть. Не признаваться. Потеряла! Это слово само возникло... Жестокое. Непоправимое. Нора стала перетряхивать другие книжки, которые на этажерке. Знала, что в них карточки не может быть — они же все время лежали здесь, она их не брала с собой. А все-таки искала. Перелистывала. Страницу за страницей. Карточки нет. Потеряла... И теперь опять не будет ни хлеба, ни крупы. Как все эти годы, когда она ела только чужое, то, что ей давали... А как хорошо стоять в булочной в очереди! Пахнет хлебом. Его много, на всех полках. Она подает карточку продавщице в странных, с половинками пальцев перчатках. Продавщица вырезает два купона и взвешивает хлеб. Довесок Нора съедает сразу... И сегодня перед школой так было. Нора хорошо помнит, как вложила карточку в учебник географии. Еще какая-то картинка мелькнула на левой странице. Где же она могла выронить? Неужели по дороге в школу, когда на ходу отламывала хлеб и незаметно для прохожих совала в рот? Или, может, уже в школе? Нора силилась вспомнить, видела ли она карточку на уроке географии, когда открыла книжку. Но она ж ее не листала, открыла сразу на сто первой странице. Потом учитель ее вызвал. А когда вернулась с пятеркой, на радостях книжку сунула в парту. Может, когда торопилась к отцу. "Угадайте, что я получила?" Книжки, кажется, держала на весу, даже размахивала ими. И о карточке совсем не помнила. "Угадайте, что я получила?" А теперь у нее ничего не будет. До самого конца месяца, двадцать дней. Нора потрогала мешочек с перловой крупой. Очень мало. Но если налить полкастрюли воды и долго варить, чтобы суп стал клейким, тогда хватит на три дня... А еще семнадцать?.. Но это же не так долго. Можно потерпеть. Все эти годы у нее ведь совсем не было карточек. Тогда ей давали... А теперь не надо, чтобы давали. Она даже никому не скажет. Будет молчать. И у отца, и на работе. В обеденный перерыв, когда Людмила Афанасьевна и Марите будут есть, она выйдет. Будет сидеть на чердачной лестнице. Чтобы никто не видел... Ночью очень захотелось есть. И Нора вспомнила, что совсем без еды человек не может жить долго. Но она же ходит к отцу! И тетя Люба ее обязательно сажает за стол. Значит, после работы она будет есть у них. А утром и вечером можно потерпеть. Так всю ночь. То она представляла себе, как молчит, хотя есть очень хочется. То видела, как тетя Люба ей подает глубокую тарелку манной каши. С клубничным вареньем. Она понимала, что это снится. Манной кашей с вареньем кормила мама. Раньше, давно. Когда Нора болела. Но все равно не отпускала этого видения — смотрела на полную тарелку белой каши и крупные красные клубничины. А может, найдет карточку? Если выронила ее на улице... И Нора представляла себе — уже не во сне, а глядя на низкий скат потолка над головой, — как она рано утром ищет на улице карточку. Старается в предрассветной темноте увидеть белеющий на талом снегу знакомый продолговатый листок. Утром, когда дядя Ян вышел отпирать ворота, Нора уже стояла там. Он очень удивился. — Куда это ты собралась? И Нора, совсем забыв о своей решимости молчать, ляпнула: — Искать свою карточку. Вчера потеряла... Дядя Ян покачал головой. — Кто-нибудь ее уже давно поднял. И жует твой хлеб. Все равно Нора пошла. Казалось, теперь она въявь повторяет то, что ночью представляла себе. Старательно всматривается в каждое белеющее пятнышко, поднимает каждую бумажку. Дошла до самого отцовского дома. Наверх не поднялась, чтобы их не всполошить. Она хорошо помнит, что там книг не открывала. Положила в передней на подоконник, а когда уходила — забрала. И ничего из них не выпадало. Повернула к школе. Так же внимательно глядела себе под ноги и так же поднимала каждую бумажку. Но это были другие — обрывки газет, скомканные папиросные коробки. В школе уборщица сочувственно вздыхала, помогла ей обыскать парту, даже в другие заглянула, вывернула корзину для мусора. И все утешала, что, может, кто честный поднял, отнес в магазин. Есть же и честные люди, их даже больше, чем нечестных. Понимают ведь, что теперь без карточки совсем худо. Пока искали, совсем рассвело. По дороге к магазину Нора уже разглядывала бумажки на земле не поднимая. Но карточки не нашла. На работе старалась молчать. Совсем не разговаривать, чтобы само не вырвалось. Она же все время помнит, чувствует, что потеряла хлебную карточку. Но неожиданно Марите громко сказала: — Что-то наша Нора сегодня не в духе. Не выпалась? — Да, — поспешно подтвердила она. — Все зубришь? — Ага. И получила пятерку. Стих стук машинок. Товарищ Астраускас тоже поднял голову. Улыбнулся. А Марите пожал плечами. — Тогда почему такая кислая? Норе показалось, что очень тихо, все ждут ее ответа. — Я потеряла хлебную карточку. Все трое смотрели на нее, будто ждали, что она скажет еще что-нибудь. Но теперь она уже молчала не нарочно. Первой, как всегда, очнулась Марите: — Где это тебя угораздило? — Не знаю. Может, в магазине. Или по дороге... — Но где она лежала? — В учебнике географии. Марите



посмотрела на нее так свирепо, будто Нора не свою, а ее карточку потеряла. — Кто это держит карточку в учебнике географии? — Я всегда держу в книге. А вчера торопилась... — Зато теперь у тебя будет много свободного времени. До самого конца месяца. Нора кивнула: — Двадцать дней. — Уже и сосчитала? — Может, еще найдешь? — Людмила Афанасьевна всегда старается ее утешить. — Нет. Я уже искала. — У тебя же есть портфель! — с досадой сказал товарищ Астраускас. — Он ведь не мой. Только чтобы разносить бумаги. Марите шепнула: — Дурочка! А товарищ Астраускас, еле сдерживая улыбку, серьезно сказал: — Можешь с ним ходить и в школу. — Большое спасибо! — А корешок? — сразу прервала ее радость Людмила Афанасьевна. — Тоже... Он был с карточкой, я еще не отрезала. Марите сжала руками голову. А может, только закрыла ладонями уши, чтобы больше ничего не слышать. — Но он заполнен! — поспешила Нора объяснить. — Фамилия вписана. И адрес. Марите отняла руки от ушей. А товарищ Астраускас сказал: — Сходи в бюро и сразу заяви о потере. Чтобы какой-нибудь делец не попытался получить по твоему корешку на следующий месяц. — Хорошо, пойду. И сразу отлегло: через двадцать дней она опять получит карточку. Будет хлеб, крупа. Надо только потерпеть. Она же будет ходить к папе. А с каждым из этих двадцати дней ближе к концу войны. Когда можно будет покупать хлеб без карточек. — Это ж совсем не страшно! — Что? — удивилась Марите. — Что я потеряла карточку. — Вслух она это сказала не так уверенно, как думала про себя. — Ты кого утешаешь — себя или нас? — Наверно, все-таки себя, — ответила за нее Людмила Афанасьевна. — Не пойму, — пожалала Марите плечами, — характер у тебя такой или жизнь научила? Ответил товарищ Астраускас: — Наверно, жизнь. Опять они о ней говорят так, будто ее тут нет. — Никто не учил. Сама понимаю. Они почему-то рассмеялись. Конечно, смешно. Только она улыбаться не может. Людмила Афанасьевна это поняла... Перестала смеяться и достала из сумки газету. Подала ее так, чтобы сразу виден был приказ Главнокомандующего. Нора привычно бросила взгляд на напечатанные крупными буквами названия освобожденных городов. ЛАУЕНБУРГ и КАРТУЗЫ (КАРТХАУЗ). "Войска 2-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление на Данцигском направлении... овладели важными узлами... дорог — городами ЛАУЕНБУРГ и КАРТУЗЫ (КАРТХАУЗ). В боях за овладение... отличились войска..." — Газета мне? — Да-да, бери. — Если она вам нужна, я только вырежу приказ и сводку. — Бери всю. — Спасибо. Марите хмыкнула: — Все еще собираешь? — Да. Марите это считает проявлением запоздалого детства. Вместо почтовых марок или монет коллекционировать сводки о положении на фронте. А Нора их собирает вовсе не так, как собирают марки. Она любит их перечитывать все вместе. И считать, сколько уже освобождено городов. Марите это знает. И все равно подтрунивает над ней. Сейчас, конечно, тоже не удержалась: — А сколько еще осталось неосвобожденных, тоже знаешь? — Нет... — Нора ничуть не обижается. — Тогда какой толк от твоего собрания? — Мы с Иоанной их носим ее маме в больницу. Читаем ей. Только сказала и сразу вспомнила, что ведь решила никому не рассказывать об этом. Отцу — потому что он недоволен: "Единственный свободный вечер проводить в больнице неразумно". А Марите... Она опять скажет что-нибудь насмешливое. И, конечно, не преминула: — Наша Нора теперь решила стать всеобщей спасительницей. Товарищ Астраускас даже не улыбнулся. Только спросил: — Не слишком ли обнадеживаете? Нора пожалала плечами. Ответить "нет" она не решается. Врач тоже сказал это, когда узнал, что они с Иоанной каждый раз приносят в больницу письма, То якобы от сына тети Яновой, Яцека, то еще от кого-нибудь. И во всех, конечно, писалось об освобождении лагерей. Учительница Контримене очень внимательно их слушала. Даже улыбалась! Но стала требовать, чтобы ее выписали, — она не хочет, чтобы Микас, когда вернется, застал ее здесь. Иногда даже начинала уверять, что Микас уже дома, но от нее это скрывают. Она так убедительно, совсем как здоровая, говорила о предчувствии материнского сердца, что Нора с Иоанной каждый раз были готовы бежать домой, смотреть — а вдруг он на самом деле приехал. Сейчас, только что. Так врач узнал про письма... И тоже сказал: "Нельзя слишком обнадеживать". Запретил вообще приносить письма, даже настоящие, не ими самими сочиненные. Разрешил только газеты. Но учительница сердится, требует писем. Чего только они с Иоанной не придумывают! Сперва говорили, что писем нет. Потом стали уверять, что Яцек ранен, лежит в госпитале. В последний четверг сказали, что его перевели на другой фронт. Но она все равно требует — пусть пишет с другого фронта. — Отнеси эту телеграмму. Нора будто очнулась, услышав голос товарища Астраускаса. — Заодно зайдешь насчет своей карточки. — Хорошо... Нора отмечает в журнале время ухода: 13.10. Значит,

полдня уже прошло. Теперь до получения новой карточки осталось девятнадцать с половиной... Всего три дня... Нора взяла с этажерки свой самодельный календарик и перечеркнула сегодняшнее число. Теперь до получения новой карточки осталось еще три дня. То есть получит она уже завтра, но отоварить сможет только первого. Побежит в булочную с самого утра, как только откроют. И на работу придет уже с хлебом! Если, конечно, удержится, и не съест по дороге. Удержится. И больше ничего не возьмет ни у товарища Астраускаса, ни у Марите, ни у Людмилы Афанасьевны. Нора начала — уже в который раз — представлять себе, как она подает продавщице карточку. Та берет ее посиневшими от холода пальцами, хотя на руках смешные, с половинками пальцев перчатки. Вырезает два купона и взвешивает Норе хлеб. Горбушку, с довеском. Его Нора сразу кладет в рот... Вдруг погас свет. Будто прервал видение. И Нора снова вернулась сюда — к темноте, этажерке и чуть белеющим на комодке бумажным салфеткам. Ей же надо готовить уроки. И, главное, написать к завтрашнему дню сочинение. "Как я себе представляю жизнь после войны". Учительница задала еще на прошлой неделе, а Нора все откладывала. Сколько ни думала, что написать, перед глазами все то же — школьный концерт, играет ее ученица. В зале отец. И тот, кто вынес ее из леса. Но надо же написать о другом, обо всех. Может, о тете Яновой? Как она бережет бутылочку красных чернил, чтобы перекрасить старый, полинявший флаг и в самый последний день войны вывесить его. Это будет в день, когда кончится война. Скоро она уже совсем кончится. "Гитлеру все равно свернут шею, а кого не дашь убить — тот останется". Это сказал дедок. Он не дал ее убить. И Стролисы не дали. И мельник. Может, написать о них? Но это же о том, что было. А надо о том, что будет. Потом, после войны. Нора зажмурилась. Чтобы представить себе. Город, наверно, опять будет выглядеть так, как раньше. Вместо развалин везде дома. На улицах много света, людей. И Нора вместе с ними. Она спешит в музыкальную школу. Играют ее ученики. Пришли в школу несмышленишами, а теперь играют. Это она их научила. Потому что кончила консерваторию. Нет, потому что она есть! Вдруг зажегся свет. Только бы не погас! Нора села готовить уроки. И, главное, писать сочинение: "Как я себе представляю жизнь после войны..."